

Борис Пастернак Свеча горела (сборник)

© Пастернак Б. Л., наследники, 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

* * *

Начальная пора

«Февраль. Достать чернил и плакать!..»

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.

Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес,
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

1912

«Как бронзовой золой жаровень...»

Как бронзовой золой жаровень,
Жуками сыплет сонный сад.
Со мной, с моей свечою вровень
Миры расцветшие висят.

И, как в неслыханную веру,
Я в эту ночь перехожу,
Где тополь обветшало-серый
Завесил лунную межу,

Где пруд как явленная тайна,
Где шепчет яблони прибой,
Где сад висит постройкой свайной

И держит небо пред собой.

1912

«Когда залиры лабиринт...»

Когда за лиры лабиринт
Поэты взор вперят,
Налево развернется Инд,
Правей пойдет Евфрат.

А посреди меж сим и тем
Со страшной простотой
Легенде ведомый Эдем
Взовьет свой ствольный строй,

Он вырастет над пришлецом
И прошумит: мой сын!
Я историческим лицом
Вошел в семью лесин.

Я – свет. Я тем и знаменит,
Что сам бросаю тень.
Я – жизнь земли, ее зенит,
Ее начальный день.

«1913, 1928»

Сон

Мне снилась осень в полусвете стекол,
Друзья и ты в их шутовской гурьбе,
И, как с небес добывший крови сокол,
Спускалось сердце на руку к тебе.

Но время шло, и старилось, и глохло,
И, паволокой рамы серебра,
Заря из сада обдавала стекла
Кровавыми слезами сентября.

Но время шло и старилось. И рыхлый,
Как лед, трещал и таял кресел шелк.
Вдруг, громкая, запнулась ты и стихла,
И сон, как отзвук колокола, смолк.

Я пробудился. Был, как осень, темен
Рассвет, и ветер, удаляясь, нес,
Как за возом бегущий дождь соломин,
Грядущих по небу берез.

1913, 1928

«Ярос. Меня, как Ганимеда...»

Я рос. Меня, как Ганимеда,
Несли ненастья, сны несли.
Как крылья, отрастали беды
И отделяли от земли.

Я рос. И повечерий тканых
Меня фата обволокла.
Напутствуем вином в стаканах,
Игрой печальную стекла.

Я рос, и вот уж жар предплечий
Студит объятие орла.
Дни далеко, когда предтечей, –
Любовь, ты надо мной плыла.

Но разве мы не в том же небе?
На то и прелесть высоты,
Что, как себя отпевший лебедь,
С орлом плечо к плечу и ты.

«1913, 1928»

«Всенаденут сегодня пальто...»

Все наденут сегодня пальто
И заденут за поросли капель,
Но из них не заметит никто,
Что опять я ненастями запил.

Засребрятся малины листы,
Запрокинувшись кверху изнанкой.
Солнце грустно сегодня, как ты, –
Солнце нынче, как ты, северянка.

Все наденут сегодня пальто,
Но и мы проживем без убытка.
Нынче нам не заменит ничто
Затуманившегося напитка.

«1913, 1928»

«Сегодня спервым светом встанут...»

Сегодня с первым светом встанут
Детьми уснувшие вчера.
Мечом призывов новых стянут

Изгиб застывшего бедра.

Дворовый окрик свой татары
Едва успеют разнести, –
Они оглянутся на старый
Пробег знакомого пути.

Они узнают тот сиротский,
Северно-сизый, сорный дождь,
Тот горизонт горнозаводский
Театров, башен, боен, почт,

Где что ни знак, то отпечаток
Ступни, поставленной вперед.
Они услышат: вот начаток,
Пример преподан, – ваш черед.

Обоим надлежит отныне
Пройти его во весь объем,
Как рашпилем, как краской синей,
Как брод, как полосе вдвоем.

«1913, 1928»

Вокзал

Вокзал, несгораемый ящик
Разлук моих, встреч и разлук,
Испытанный друг и указчик,
Начать – не исчислить заслуг.

Бывало, вся жизнь моя – в шарфе,
Лишь подан к посадке состав,
И пышут намордники гарпий,
Парами глаза нам застлав.

Бывало, лишь рядом усядусь –
И крышка. Приник и отник.
Прощай же, пора, моя радость!
Я спрыгну сейчас, проводник.

Бывало, раздвинется запад
В маневрах ненастий и шпал
И примется хлопьями цапать,
Чтоб под буфера не попал.

И глохнет свисток повторенный,
А издали вторит другой,
И поезд метет по перронам
Глухой многогорбой пургой.

И вот уже сумеркам невтерпь,
И вот уж, за дымом вослед,
Срываются поле и ветер, –
О, быть бы и мне в их числе!

1913, 1928

Венеция

Я был разбужен спозаранку
Щелчком оконного стекла.
Размокшей каменной баранкой
В воде Венеция плыла.

Все было тихо, и, однако,
Во сне я слышал крик, и он
Подобьем смолкнувшего знака
Еще тревожил небосклон.

Он вис трезубцем Скорпиона
Над гладью стихших мандолин
И женщиною оскорбленной,
Быть может, издан был вдали.

Теперь он стих и черной вилкой
Торчал по черенок во мгле.
Большой канал с косою ухмылкой
Оглядывался, как беглец.

Туда, голодные, противясь,
Шли волны, шлендая с тоски,
И го#769;нды¹ рубили привязь,
Точа о пристань тесаки.

Вдали за лодочной стоянкой
В остатках сна рождалась явь.
Венеция венецианкой
Бросалась с набережных вплавь.

1913, 1928

Пирь

Пью горечь тубероз, небес осенних горечь
И в них твоих измен горящую струю.
Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ,
Рыдающей строфы сырую горечь пью.

¹ В отступление от обычая восстанавливаю итальянское ударение.

Исчадья мастерских, мы трезвости не терпим.
Надежному куску объявлена вражда.
Тревожней ветр ночей – тех здравиц виночерпьем,
Которым, может быть, не сбыться никогда.

Наследственность и смерть – застольцы наших трапез.
И тихую зарей – верхи дерев горят –

В сухарнице, как мышь, копается анапест,
И Золушка, спеша, меняет свой наряд.

Полы подметены, на скатерти – ни крошки,
Как детский поцелуй, спокойно дышит стих,
И Золушка бежит – во дни удач на дрожках,
А сдан последний грош – и на своих двоих.

1913, 1928

Зимняя ночь

Не поправить дня усилиями светилен.
Не поднять теням крещенских покрывал.
На земле зима, и дым огней бессилен
Распрямить дома, полегшие вповал.

Булки фонарей и пышки крыш, и черным
По белу в снегу – косяк особняка:
Это – барский дом, и я в нем гувернером.
Я один, я спать уснул ученика.

Никого не ждут. Но – наглухо портьеру.
Тротуар в буграх, крыльцо замечено.
Память, не ершись! Срастись со мной! Уверуй
И уверь меня, что я с тобой – одно.

Снова ты о ней? Но я не тем взволнован.
Кто открыл ей сроки, кто навел на след?
Тот удар – исток всего. До остального,
Милостью ее, теперь мне дела нет.

Тротуар в буграх. Меж снеговых развилин
Вмерзшие бутылки голых, черных льдин.
Булки фонарей, и на трубе, как филин,
Потонувший в перьях нелюдимый дым.

1913, 1928

Поверх барьеров

Возможность

В девять, по левой, как выйти со Страстного,
На сырых фасадах – ни единой вывески.
Солидные предприятия, но улица – из снов ведь!
Щиты мешают спать, и их велели вынести.

Суконщики, С. Я., то есть сыновья суконщиков
(Форточки наглухо, конторщики в отлучке).
Спит, как убитая, Тверская, только кончик
Сна высвобождая, точно ручку.

К ней-то и прикладывается памятник Пушкину,
И дело начинает пахнуть дуэлью,
Когда какой-то из новых воздушный
Поцелуй ей шлет, легко взмахнув метелью.

Во-первых, он помнит, как началось бессмертье
Тотчас по возвращеньи с дуэли, дома,
И трудно отвыкнуть. И во-вторых, и в-третьих,
Она из Гончаровых, их общая знакомая!

«1914»

«Оттепелями измагазинов...»

Оттепелями из магазинов
Веяло ватным теплом.
Вдоль по панелям зимним
Ездил звездистый лом.

Лед, перед тем как дрогнуть,
Соками пух, трещал.
Как потемневший ноготь,
Ныла вода в клещах.

Капала медь с деревьев.
Прячась под карниз,
К окнам с галантереей
Жался букинист.

Клейма резиновой фирмы
Сеткою подошв
Липли к икринкам фирна
Или влекли под дождь.

Вот как бывало в будни.
В праздники ж рос буран
И нависал с полудня
Вестью полярных стран.

Небу под снег хотелось,
Улицу бил озноб,
Ветер дрожал за целость
Вывесок, блях и скоб.

1928

Зимнее небо

Цельною льдиной из дымности вынут
Ставший с неделю звездный поток.
Клуб конькобежцев вверху опрокинут:
Чокается со звонкою ночью каток.

Реже-реже-ре-же ступай, конькобежец,
В беге ссекая шаг свысока.
На повороте созвездьем врежется
В небо Норвегии скрежет конька.

Воздух окован мерзлым железом.
О конькобежцы! Там – всё равно,
Что, как глаза со змеиным разрезом,
Ночь на земле, и как кость домино;

Что языком обомлевшей легавой
Месяц к скобе примерзает; что рты,
Как у фальшивомонетчиков, – лавой
Дух захватившего льда налиты.

1915

Душа

О вольноотпущенница, если вспомнится,
О, если забудется, пленница лет.
По мнению многих, душа и паломница,
По-моему, – тень без особых примет.

О, в камне стиха, даже если ты канула,
Утопленница, даже если – в пыли,
Ты бьешься, как билась княжна Тараканова,
Когда февралем залило равелин.

О, внедренная! Хлопоча об амнистии,
Кляня времена, как клянут сторожей,
Стучатся опавшие годы, как листья,
В садовую изгородь календарей.

1915

«Некаклюди, нееженедельно...»

Не как люди, не еженедельно,
Не всегда, в столетье раза два
Я молил Тебя: членораздельно
Повтори творящие слова.

И Тебе ж невыносимы смеси
Откровений и людских неволь.
Как же хочешь Ты, чтоб я был весел,
С чем бы стал Ты есть земную соль?

1915

Раскованный голос

В шалящую полночью площадь,
В сплошавшую белую бездну
Незримою ими – «Извозчик!»
Низринуть с подъезда. С подъезда

Столкнуть в воспаленную полночь,
И слышать сквозь темные спаи
Ее поцелуев – «На помощь!»
Мой голос зовет, утопая.

И видеть, как в единоборстве
С метелью, с лютейшей из лютен,
Он – этот мой голос – на черствой
Узде выплывает из мути...

1915

Метель

1

В посаде, куда ни одна нога
Не ступала, лишь ворожеи да вьюги
Ступала нога, в бесноватой округе,
Где и то, как убитые, спят снега, –

Постой, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, лишь ворожеи
Да вьюги ступала нога, до окна
Дохлестнулся обрывок шальной шлеи.

Ни зги не видать, а ведь этот посад
Может быть в городе, в Замоскворечьи,
В Замостьи, и прочая (в полночь забредший

Гость от меня отшатнулся назад).

Послушай, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, одни душегубы,
Твой вестник – осиновый лист, он безгубый,
Безгласен, как призрак, белей полотна!

Метался, стучался во все ворота,
Кругом озирался, смерчком с мостовой...
– Не тот это город, и полночь не та,
И ты заблудился, ее вестовой!

Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста.
В посаде, куда ни один двуногий...
Я тоже какой-то... я сбился с дороги:
– Не тот это город, и полночь не та.

2

Все в крестиках двери, как в Варфоломееву
Ночь. Распоряженья пурги-заговорщицы:
Заваливай окна и рамы заклеивай,
Там детство рождественской елью топорщится.

Бушует бульваров безлиственных заговор.
Они поклялись извести человечество.
На сборное место, город! Загород!
И вьюга дымится, как факел над нечистью.

Пушинки непрошенно валятся на руки.
Мне страшно в безлюдьи пороши разнузданной.
Снежинки снуют, как ручные фонарики.
Вы узнаны, ветки! Прохожий, ты узнан!

Дыра полыньи, и мерещится в музыке
Пурги: – Колиньи, мы узнали твой адрес! –
Секиры и крики: – Вы узнаны, узники
Уюта! – и по двери мелом – крест-накрест.

Что лагерем стали, что подняты на ноги
Подонки творенья, метели – сполагоря.
Под праздник отправятся к праотцам правнуки.
Ночь Варфоломеева. За город, за город!

1914, 1928

Урал впервые

Без родовспомогательницы, во мраке, без памяти,
На ночь натыкаясь руками, Урала
Твердыня орала и, падая замертво,

В мученьях ослепшая, утро рожала.

Гремя опрокидывались нечаянно задетые
Громады и бронзы массивов каких-то.
Пыхтел пассажирский. И, где-то от этого
Шарахаясь, падали призраки пихты.

Коптивший рассвет был снотворным. Не иначе:
Он им был подсыпан – заводам и горам –
Лесным печником, злоречивым Горынычем,
Как опий попутчику опытным вором.

Очнулись в огне. С горизонта пунцового
На лыжах спускались к лесам азиатцы,
Лизали подошвы и соснам подсовывали
Короны и звали на царство венчаться.

И сосны, повстав и храня иерархию
Мохнатых монархов, вступали
На устланный наста оранжевым бархатом
Покров из камки и сусали.

1916

Ледоход

Еще о восходах молодых
Весенний грунт мечтать не смеет.
Из снега выкатив кадык,
Он берегом речным чернеет.

Заря, как клещ, впилась в залив,
И с мясом только вырвешь вечер
Из топи. Как плотолобив
Простор на севере зловещем!

Он солнцем давится взаглот
И тащит эту ношу по мху.
Он шлепает ее об лед
И рвет, как розовую семгу.

Увалы хищной тишины,
Шатанье сумерек нетрезвых, –
Но льдин ножи обнажены,
И стук стоит зеленых лезвий.

Немолчный, алчный, скучный хрип,
Тоскливый лязг и стук ножовый,
И сталкивающихся глыб
Скрежещущие пережевы.

1916, 1928

«Я понял жизни цель и что...»

Я понял жизни цель и что
Ту цель, как цель, и эта цель –
Признать, что мне не вмоготу
Мириться с тем, что есть апрель,

Что дни – кузнечные мехи,
И что растекся полосой
От ели к ели, от ольхи
К ольхе, железный и косой,

И жидкий, и в снега дорог,
Как уголь в пальцы кузнеца,
С шипеньем впившийся поток
Зари без края и конца.

Что в берковец церковный зык,
Что взят звонарь в весовщики,
Что от капели, от слезы
И от поста болят виски.

1916

Весна

1

Что почек, что клейких заплывших огарков
Налеплено к веткам! Затеplen
Апрель. Возмужалостью тянет из парка,
И реплики леса окрепли.

Лес стянут по горлу петлюю пернатых
Гортаней, как буйвол арканом,
И стонет в сетях, как стенает в сонатах
Стальной гладиатор органа.

Поэзия! Греческой губкой в присосках
Будь ты, и меж зелени клейкой
Тебя б положил я на мокрую доску
Зеленой садовой скамейки.

Расти себе пышные брыжжи и фижмы,
Вбирай облака и овраги,
А ночью, поэзия, я тебя выжму
Во здравие жадной бумаги.

2

Весна! Не отлучайтесь
Сегодня в город. Стаями
По городу, как чайки,
Льды раскричались, таючи.

Земля, земля волнуется,
И катятся, как волны,
Чернеющие улицы, –
Им, ветреницам, холодно.

По ним плывут, как спички,
Сгорая и захлебываясь,
Сады и электрички, –
Им, ветреницам, холодно.

От кружки синевы со льдом,
От пены буревестников
Вам дурно станет. Впрочем, дом
Кругом затоплен песнью.

И бросьте размышлять о тех,
Кто выехал рыбачить.
По городу гуляет грех
И ходят слезы падших.

3

Разве только грязь видна вам,
А не скачет таль в глазах?
Не играет по канавам –
Словно в яблоках рысак?

Разве только птицы цедят,
В синем небе щебеча,
Ледяной лимон обеден
Сквозь соломину луча?

Оглянись, и ты увидишь
До зари, весь день, везде,
С головой Москва, как Китеж, –
В светло-голубой воде.

Отчего прозрачны крыши
И хрустальны колера?
Как камыш, кирпич колыша,
Дни несутся в вечера.

Город, как болото, топок,
Струпья снега на счету,
И февраль горит, как хлопок,

Захлебнувшийся в спирту.

Белым пламенем измучив
Зоркость чердаков, в косом
Переплете птиц и сучьев –
Воздух гол и невесом.

В эти дни теряешь имя,
Толпы лиц сшибают с ног.
Знай, твоя подруга с ними,
Но и ты не одинок.

1914

Ивака

Кокошник нахлобучила
Из низок ливня – паросль.
Футляр дымится тучею,
В ветвях горит стеклярус.

И на подушке плюшевой
Сверкает в переливах
Разорванное кружево
Деревьев говорливых.

Сережек аметистовых
И шишек из сапфира
Нельзя и было выставить,
Из-под земли не вырыв.

Чтоб горы очаровывать
В лиловых мочках яра,
Их вынули из нового
Уральского футляра.

1916, 1928

Стрижи

Нет сил никаких у вечерних стрижей
Сдержат голубую прохладу.
Она прорвалась из горластых грудей
И льется, и нет с нею сладу.

И нет у вечерних стрижей ничего,
Что б там, наверху, задержало
Витийственный возглас их: о торжество,
Смотрите, земля убежала!

Как белым ключом закипая в котле,
Уходит бранчливая влага, –
Смотрите, смотрите – нет места земле
От края небес до оврага.

1915

Счастье

Исчерпан весь ливень вечерний
Садами. И вывод – таков:
Нас счастье тому же подвергнет
Терзанию, как сонм облаков.

Наверное, бурное счастье
С лица и на вид таково.
Как улиц по смьты ненастья
Столиственное торжество.

Там мир заключен. И, как Каин,
Там заштемпелеван теплом
Окраин, забыт и охаян,
И высмеян листьями гром.

И высью. И капель икотой.
И – внятной тем более, что
И рощам нет счета: решета
В сплошное слились решето.

На плоской листве. Океане
Расплавленных почек на дне
Бушующего обожанья
Молящихся вышине.

Кустарника сгусток не выжат.
По клетке и влюбчивый клёст
Зерном так задорно не брызжет,
Как жимолость – россыпью звезд.

1915

Эхо

Ночам соловьем обладать,
Что ведром полнодонным колодцам.
Не знаю я, звездная гладь
Из песни ли, в песню ли льется.

Но чем его песня полней,
Тем полночь над песнью просторней.

Тем глубже отдача корней,
Когда она бьется об корни.

И если березовых куп
Безвозгласно великолепье,
Мне кажется, бьется о сруб
Та песня железною цепью,

И каплет со стали тоска,
И ночь растекается в слякоть,
И ею следят с цветника
До самых закраинных пахот.

1915

Триварианта

1

Когда до тончайшей мелочи
Весь день пред тобой на весу,
Лишь знойное щелканье белочье
Не молкнет в смолистом лесу.

И млея, и силы накапливая,
Спит строй сосновых высот.
И лес шелушится и каплями
Роняет струящийся пот.

2

Сады тошнит от верст затишья.
Столбняк рассерженных лощин
Страшней, чем ураган, и лише,
Чем буря, в силах всполошить.

Гроза близка. У сада пахнет
Из усыхающего рта
Крапивой, кровлей, тленьем, страхом.
Встает в колонны рев скота.

3

На кустах растут разрывы
Облетелых туч. У сада
Полон рот сырой крапивы:
Это запах гроз и кладов.

Устает кустарник охать.
В небе множатся пролеты.
У босой лазури – по#769;ходь

Голенастых по болоту.

И блестят, блестят, как губы,
Не утертые рукою,
Лозы ив, и листья дуба,
И следы у водополя.

1914

Июльская гроза

Так приближается удар
За сладким, из-за ширмы лени,
Во всеоружьи мутных чар
Довольства и оцепененья.

Стоит на мертвой точке час
Не оттого ль, что он намечен,
Что желчь моя не разлилась,
Что у меня на месте печень?

Не отсыхает ли язык
У лип, не липнут листья к небу ль
В часы, как в лагере грозы
Полнеба топчется поодаль?

И слышно: гам ученья там,
Глухой, лиловый, отдаленный.
И жарко белым облакам
Грудиться, строясь в батальоны.

Весь лагерь мрака на виду.
И, мрак глазами пожирая,
В чаду стоят плетни. В чаду –
Телеги, кадки и сарай.

Как плат белы, забыли грызть
Подсолнухи, забыли сплунуть,
Их всех поработила высь,
На них дохнувшая, как юность.

Гроза в воротах! на дворе!
Преображаясь и дурея,
Во тьме, в раскатах, в серебре,
Она бежит по галерее.

По лестнице. И на крыльцо.
Ступень, ступень, ступень. – Повязку!
У всех пяти зеркал лицо
Грозы, с себя сорвавшей маску.

1915

После дождя

За окнами давка, толпится листва,
И палое небо с дорог не подобрано.
Всё стихло. Но что это было сперва!
Теперь разговор уж не тот и по-доброму.

Сначала всё опрометью, вразноряд
Ввалилось в ограду деревья развенчивать,
И попраным парком из ливня – под град,
Потом от сараев – к террасе бревенчатой.

Теперь не надышишься крепью густой.
А то, что у тополя жилы полопались, –
Так воздух садовый, как соды настой,
Шипучкой играет от горечи тополя.

Со стекол балконных, как с бедер и спин
Озябших купальщиц, – ручьями испарина.
Сверкает клубники мороженный клин,
И градинки стелются солью поваренной.

Вот луч, покатаься с паутины, залег
В крапиве, но, кажется, это ненадолго,
И миг недалек, как его уголек
В кустах разожжется и выдует радугу.

1915, 1928

Импровизация

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клекот.
Я вытянул руки, я встал на носки,
Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.

И было темно. И это был пруд
И волны. – И птиц из породы люблю вас,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливые, черные, крепкие клювы.

И это был пруд. И было темно.
Пылали кубышки с полуночным дегтем.
И было волною обглодано дно
У лодки. И грызлись птицы у локтя.

И ночь полоскалась в гортанях запруд.
Казалось, покамест птенец не накормлен,

И самки скорей умертвят, чем умрут
Рулады в крикливом, искривленном горле.

1915

Мельницы

Стучат колеса на селе.
Струятся и хрустят колосья.
Далёко, на другой земле
Рыдает пес, обезголосев.

Село в серебряном плену
Горит белками хат потухших,
И брешет пес, и бьет в луну
Цепной, кудлатой колотушкой.

Мигают вишни, спят волы,
Внизу спросонок пруд маячит,
И кукурузные стволы
За пазухой початки прячут.

А над кишеньем всех естеств,
Согбенных бременем налива,
Костлявой мельницы крестец,
Как крепость, высится ворчливо.

Плакучий Харьковский уезд,
Русалочьи начесы лени,
И ветел, и плетней, и звезд,
Как сизых свечек, шевеленье.

Как губы, – шепчут; как руки, – вяжут;
Как вздох, – невнятны, как кисти, – дряхлы.
И кто узнает, и кто расскажет,
Чем тут когда-то дело пахло?

И кто отважится и кто осмелится
Из сонной одури хоть палец высвободить,
Когда и ветряные мельницы
Окоченели на лунной исповеди?

Им ветер был роздан, как звездам – свет.
Он выпущен в воздух, а нового нет.
А только, как судна, земле вопреки,
Воздушною ссудой живут ветряки.

Ключицы сутуля, крыла разбросав,
Парят на ходулях степей паруса.
И сохнут на срубках, висят на горбах
Рубахи из луба, порты-короба.

Когда же беснуются куры и стружки,
И дым коромыслом, и пыль столбом,
И падают капли медяшками в кружки,
И ночь подплывает во всем голубом,

И рвутся оборки настурций, и буря,
Баллоном раздув полотно панталон,
Вбегаёт и видит, как тополь, зажмурясь,
Нашествием снега слепит небосклон, –

Тогда просыпаются мельничные тени.
Их мысли ворочаются, как жернова.
И они огромны, как мысли гениев,
И несоразмерны, как их права.

Теперь перед ними всей жизни умолот.
Все помыслы степи и все слова,
Какие жара в горах придумала,
Охапками падают в их постова.

Завидевши их, паровозы тотчас же
Врезаются в кашу, стремя к ветрякам,
И хлопают паром по тьме клокочущей,
И мечут из топок во мрак потроха.

А рядом, весь в пеклеванных выкликах,
Захлебываясь кулешом подков,
Подводит шлях, в пыли по щиколку,
Под них свой сусличий подкоп.

Они ж, уставая от далей, пожалованных
Валам несчастной шестерни,
Меловые обвалы пространств обмалывают
И судьбы, и сердца, и дни.

И они перемалывают царства проглоченные,
И, вращая белками, пылят облака,
И, быть может, нигде не найдется вотчины,
Чтоб бездонным мозгам их была велика.

Но они и не жалуются на каторгу.
Наливаясь в грядущем и тлея в былом,
Неизвестные зарева, как элеваторы,
Преисполняют их теплом.

1915, 1928

Напароходе

Был утренник. Сводило челюсти,

И шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет.

Гремели блюда у буфетчика.
Лакей зевал, сочтя судки.
В реке, на высоте подсвечника,
Кишмя кишели светляки.

Они свисали ниткой искристой
С прибрежных улиц. Било три.
Лакей салфеткой тщился выскрести
На бронзу всплывший стеарин.

Седой молвой, ползущей исстари,
Ночной былиной камыша
Под Пермь, на бризе, в быстром бисере
Фонарной ряби Кама шла.

Волной захлебываясь, на волос
От затопленья, за суда
Нырляла и светильней плавала
В лампаде камских вод звезда.

На пароходе пахло кушаньем
И лаком цинковых белил.
По Каме сумрак плыл с подслушанным,
Не пророня ни всплеска, плыл.

Держа в руке бокал, вы суженным
Зрчком следили за игрой
Обмолвок, вившихся за ужином,
Но вас не привлекал их рой.

Вы к былям звали собеседника,
К волне до вас прошедших дней,
Чтобы последнею отцединкой
Последней капли кануть в ней.

Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет.

И утро шло кровавой банею,
Как нефть разлившейся зари,
Гасить рожки в кают-компании
И городские фонари.

(Дваотрывка)

1

Я тоже любил, и дыханье
Бессонницы раннею ранью
Из парка спускалось в овраг, и впотьмах
Выпархивало на архипелаг

Полян, утопавших в лохматом тумане,
В полыни и мяте и перепелах.
И тут тяжелел обожанья размах,
Хмелел, как крыло, обожженное дробью,
И бухался в воздух, и падал в ознобе,
И располагался росой на полях.

А там и рассвет занимался. До двух
Несметного неба мигали богатства,
Но вот петухи начинали пугаться
Потемок и силились скрыть перепуг,
Но в глотках рвались холостые фугасы,

И страх фистулой голосил от потуг,
И гасли стожары, и, как по заказу,
С лицом пучеглазого свечегаса
Показывался на опушке пастух.

Я тоже любил, и она пока еще
Жива, может стать. Время пройдет,
И что-то большое, как осень, однажды
(Не завтра, быть может, так позже когда-нибудь)
Зажжется над жизнью, как зарево, сжалившись
Над чащей. Над глупостью луж, изнывающих
По-жабьи от жажды. Над заячьей дрожью
Лужаек, с ушами ушитых в рогожу
Листвы прошлогодней. Над шумом, похожим
На ложный прибой прожитого. Я тоже
Любил, и я знаю: как мокрые пожни
От века положены году в подножье,
Так каждому сердцу кладется любовью
Знобящая новость миров в изголовье.

Я тоже любил, и она жива еще.
Всё так же, катясь в ту начальную рань,
Стоят времена, исчезая за краешком
Мгновенья. Всё так же тонка эта грань.

По-прежнему давнее кажется давешним.
По-прежнему, схлынувши с лиц очевидцев,
Безумствует быль, притворяясь не знающей,
Что больше она уж у нас не жилица.

И мыслимо это? Так, значит, и впрямь
Всю жизнь удаляется, а не длится
Любовь, удивленья мгновенная дань?

1917, 1928

2

Я спал. В ту ночь мой дух дежурил.
Раздался стук. Зажегся свет.
В окно врывалась повесть бури.
Раскрыл, как был, – полуодет.

Так тянет снег. Так шепчут хлопья.
Так шепелявят рты примет.
Там подлинник, здесь – бледность копий.
Там все в крови, здесь крови нет.

Там, озаренный, как покойник,
С окна блужданьем ночника,
Сиренью моет подоконник
Продрогший абрис ледника.

И в ночь женеvскую, как в косы
Южанки, югом вплетены
Огни рожков и абрикосы,
Оркестры, лодки, смех волны.

И, будто вороша каштаны,
Совком к жаровням в кучу сгреб
Мужчин – арак, а горожанок –
Иллюминированный сироп.

И говор долетает снизу.
А сверху, задыхаясь, вяз
Бросает в трепет холст маркизы
И ветки вчерчивает в газ.

Взгляни, как Альпы лихорадит!
Как верен дому каждый шаг!
О, будь прекрасна, бога ради,
О, бога ради, только так.

Когда ж твоя стократ прекрасней
Убийственная красота
И только с ней и до утра с ней
Ты отчужденье облита,

То атропин и белладонну
Когда-нибудь в тоску вкропив,
И я, как ты, взгляну бездонно,
И я, как ты, скажу: терпи.

Марбург

Я вздрагивал. Я загорался и гас.
Я трясся. Я сделал сейчас предложенье, –
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне – отказ.
Как жаль ее слез! Я святого блаженной.

Я вышел на площадь. Я мог быть сочтен
Вторично родившимся. Каждая малость
Жила и, не ставя меня ни во что,
В прощальном значеньи своем подымалась.

Плитняк раскалялся, и улицы лоб
Был смугл, и на небо глядел исподлобья
Бульжник, и ветер, как лодочник, греб
По лицам. И всё это были подобья.

Но как бы то ни было, я избегал
Их взглядов. Я не замечал их приветствий.
Я знать ничего не хотел из богатств.
Я вон вырывался, чтоб не разреветься.

Инстинкт прирожденный, старик-подхалим,
Был невыносим мне. Он крался бок о бок
И думал: «Ребьячья зазноба. За ним,
К несчастью, придется присматривать в оба».

«Шагни, и еще раз», – твердил мне инстинкт
И вел меня мудро, как старый схоластик,
Чрез девственный, непроходимый тростник
Нагретых деревьев, сирени и страсти.

«Научишься шагом, а после хоть в бег», –
Твердил он, и новое солнце с зенита
Смотрело, как сызнава учат ходьбе
Туземца планеты на новой планиде.

Одних это всё ослепляло. Другим –
Той тьмою казалось, что глаз хоть выколи.
Копались цыплята в кустах георгин,
Сверчки и стрекозы, как часики, тикали.

Плыла черепица, и полдень смотрел,
Не смаргивая, на кровли. А в Марбурге
Кто, громко свища, мастерил самострел,
Кто молча готовился к Троицкой ярмарке.

Желтел, облака пожирая, песок.

Предгрозые играло бровями кустарника,
И небо спекалось, упав на кусок
Кровоостанавливающей арники.

В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.

Когда я упал пред тобой, охватив
Туман этот, лед этот, эту поверхность
(Как ты хороша!) – этот вихрь духоты –
О чем ты? Опомнись! Пропало... Отвергнут.

Тут жил Мартин Лютер. Там – братья Grimm.
Когтистые крыши. Деревья. Надгробья.
И всё это помнит и тянется к ним.
Всё – живо. И всё это тоже – подобья.

О, нити любви! Улови, перейми.
Но как ты громаден, отбор обезьяний,
Когда под надмирными жизни дверьми,
Как равный, читаешь свое описание!

Когда-то под рыцарским этим гнездом
Чума полыхала. А нынешний жупел –
Насупленный лязг и полет поездов
Из жарко, как улы, курящихся дупел.

Нет, я не пойду туда завтра. Отказ –
Полнее прощанья. Всё ясно. Мы квиты.
Да и оторвусь ли от газа, от касс, –
Что будет со мною, старинные плиты?

Повсюду портпледы разложит туман,
И в обе оконницы вставят по месяцу.
Тоска пассажиркой скользнет по томам
И с книжкой на оттоманке поместится.

Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику,
Бессонницу знаю. Стрясется – спасут.
Рассудок? Но он – как луна для лунатика.
Мы в дружбе, но я не его сосуд.

Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу.
Акацией пахнет, и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, седеет в углу.

И тополь – король. Я играю с бессонницей.

И ферзь – соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.

1916, 1928

Сестра моя– жизнь

Посвящается Лермонтову

Es braust der Wald, am Himmel zieh'n
Des Sturmes Donnerflüge,
Da mal' ich in die Wetter hin,
O, Mädchen, deine Züge.

Nic. Lenau²

Памяти демона

Приходил по ночам
В синеве ледника от Тамары,
Парой крыл намечал,
Где гудеть, где кончаться кошмару.

Не рыдал, не сплетал
Оголенных, исхлестанных, в шрамах.
Уцелела плита
За оградой грузинского храма.

Как горбунья дурна,
Под решеткою тень не кривлялась.
У лампы зурна,
Чуть дыша, о княжне не справлялась.

Но сверканье рвалось
В волосах, и, как фосфор, трещали.
И не слышал колосс,
Как седеет Кавказ за печалью.

От окна на аршин,
Пробирая шерстинки бурнуса,
Клялся льдами вершин:
Спи, подружка, – лавиной вернуся.

Лето 1917 года

² Бушует лес, по небу пролетают грозные тучи, тогда на фоне бури я рисую, девочка, твои черты. Ник. Ленау (нем.).

Невремяль птицам петь

Прозэти стихи

На тротуарах истолку
С стеклом и солнцем пополам.
Зимой открою потолок
И дам читать сырым углам.

Задекламирует чердак
С поклоном рамам и зиме,
К карнизам прянет чехарда
Чудачеств, бедствий и замет.

Буран не месяц будет мечь,
Концы, начала заметет.
Внезапно вспомню: солнце есть;
Увижу: свет давно не тот.

Галчонком глянет Рождество,
И разгулявшийся денек
Откроет много из того,
Что мне и милой невдомек.

В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь форточку крикну детворе:
Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

Кто тропку к двери проторил,
К дыре, засыпанной крупой,
Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По?

Пока в Дарьял, как к другу, вхож,
Как в ад, в цейхгауз и в арсенал,
Я жизнь, как Лермонтова дрожь,
Как губы в вермут окунал.

Тоска

Для этой книги на эпитаф
Пустыни сипли,
Ревели львы, и к зорям тигров
Тянулся Киплинг.

Зиял, иссякнув, страшный кладезь
Тоски отверстой,
Качались, ляская и гладясь

Иззябшей шерстью.

Теперь качаться продолжая
В стихах вне ранга,
Бредут в туман росой лужаек
И снятся Гангу.

Рассвет холодною ехидной
Вползает в ямы,
И в джунглях сырость панихиды
И фимиама.

«Сестра моя– жизнь исегодня вразливе...»

Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.

У старших на это свои есть резоны.
Бесспорно, бесспорно смешон твой резон,
Что в грозу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт.

Что в мае, когда поездов расписание
Камышинской веткой читаешь в купе,
Оно грандиозней Святого Писанья
И черных от пыли и бурь канапе.

Что только нарвется, разлаявшись, тормоз
На мирных сельчан в захолустном вине,
С матрацев глядят, не моя ли платформа,
И солнце, садясь, соболезнает мне.

И в третий плеснув, уплывает звоночек
Сплошным извиненьем: жалею, не здесь.
Под шторку несет обгорающей ночью
И рушится степь со ступенек к звезде.

Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
И фата-морганой любимая спит
Тем часом, как сердце, плеща по площадкам,
Вагонными дверцами сыплет в степи.

Плачущий сад

Ужасный! – Капнет и вслушается,
Всё он ли один на свете

Мнет ветку в окне, как кружевце,
Или есть свидетель.

Но давится внятно от тягости
Отеков – земля ноздревая,
И слышно: далеко, как в августе,
Полуночь в полях назревает.

Ни звука. И нет соглядатаев.
В пустынности удостоверясь,
Берется за старое – скатывается
По кровле, за желоб и через.

К губам поднесу и прислушаюсь,
Всё я ли один на свете, –
Готовый навзрыд при случае, –
Или есть свидетель.

Но тишь. И листок не шелохнется.
Ни признака зги, кроме жутких
Глотков и плескания в шлепанцах
И вздохов и слез в промежутке.

Зеркало

В трюмо испаряется чашка какао,
Качается тюль, и – прямой
Дорожкой в сад, в бурелом и хаос
К качелям бежит трюмо.

Там сосны враскачку воздух саднят
Смолой; там по маете
Очки по траве растерял палисадник,
Там книгу читает Тень.

И к заднему плану, во мрак, за калитку
В степь, в запах сонных лекарств
Струится дорожкой, в сучках и в улитках
Мерцающий жаркий кварц.

Огромный сад тормошится в зале
В трюмо – и не бьет стекла!
Казалось бы, всё коллодий залил,
С комода до шума в стволах.

Зеркальная всё б, казалось, нахлынь
Непотным льдом облила,
Чтоб сук не горчил и сирень не пахла, –
Гипноза залить не могла.

Несметный мир семенит в месмеризме,
И только ветру связать,
Что ломится в жизнь и ломается в призме,
И радо играть в слезах.

Души не взорвать, как селитрой залежь,
Не вырыть, как заступом клад,
Огромный сад тормошится в зале
В трюмо – и не бьет стекла.

И вот, в гипнотической этой отчизне
Ничем мне очей не задуть.
Так после дождя проползают слизи
Глазами статуй в саду.

Шуршит вода по ушам, и, чирикнув,
На цыпочках скачет чиж.
Ты можешь им выпачкать губы черникой,
Их шалостью не опоишь.

Огромный сад тормошится в зале,
Подносит к трюмо кулак,
Бежит на качели, ловит, салит,
Трясет – и не бьет стекла!

Девочка

Ночевала тучка золотая
На груди утеса великана.

Из сада, с качелей, с бухты-барахты
Вбегает ветка в трюмо!
Огромная, близкая, с каплей смарагда
На кончике кисти прямой.

Сад заслан, пропал за ее беспорядком,
За бьющей в лицо кутерьмой.
Родная, громадная, с сад, а характером –
Сестра! Второе трюмо!

Но вот эту ветку вносят в рюмке
И ставят к раме трюмо.
Кто это, – гадают, – глаза мне рюмит
Тюремной людской дремой?

«Ты ветре, веткой пробуящем...»

Ты в ветре, веткой пробуящем,
Не время ль птицам петь,
Намокшая воробышком
Сиреневая ветвь!

У капель – тяжесть запонок,
И сад слепит, как плес,
Обрызганный, закапанный
Мильоном синих слез.

Моей тоскою вынянчен
И от тебя в шипах,
Он ожил ночью нынешней,
Забормотал, запах.

Всю ночь в окошко торкался,
И ставень дребезжал.
Вдруг дух сырой прогорклости
По платью пробежал.

Разбужен чудным перечнем
Тех прозвищ и времен,
Обводит день теперешний
Глазами анемон.

Книга степи

Est-il possible, – le t-il?
Verlaine³

Довсего этого была зима

В занавесках кружевных
Воронье.
Ужас стужи уж и в них
Заронен.

Это кружится октябрь,
Это жуть
Подобралась на когтях
К этажу.

Что ни просьба, что ни стон,
То, кряхтя,
Заступаются шестом
За октябрь.

³ Возможно ли, – было ли это? Верлен (фр.) .

Ветер за руки схватив,
Дерева
Гонят лестницей с квартир
По дрова.

Снег всё гуще, и с колен –
В магазин
С восклицаньем: «Сколько лет,
Сколько зим!»

Сколько раз он рыт и бит,
Сколько им
Сыпан зимами с копыт
Кокаин!

Мокрой солью с облаков
И с удил
Боль, как пятна с башлыков,
Выводил.

Нетрогать

«Не трогать, свежевыкрашен», –
Душа не береглась,
И память – в пятнах икр и щек,
И рук, и губ, и глаз.

Я больше всех удач и бед
За то тебя любил,
Что пожелтый белый свет
С тобой – белей белил.

И мгла моя, мой друг, боюсь,
Он станет как-нибудь
Белей, чем бред, чем абажур,
Чем белый бинт на лбу!

«Тытак играла эту роль!..»

Ты так играла эту роль!
Я забывал, что сам – суфлер!
Что будешь петь и во второй,
Кто б первой ни совлек.

Вдоль облаков шла лодка. Вдоль
Лугами кошених кормов.
Ты так играла эту роль,

Как лепет шлюз – кормой!

И, низко рея на руле
Касаткой об одном крыле,
Ты так! – ты лучше всех ролей
Играла эту роль!

Подражатели

Пекло, и берег был высок.
С подплывшей лодки цепь упала
Змеей гремучею – в песок,
Гремучей ржавчиной – в купаву.

И вышли двое. Под обрыв
Хотелось крикнуть им: «Простите,
Но бросьтесь, будьте так добры,
Не врозь, так в реку, как хотите.

Вы верны лучшим образцам.
Конечно, ищущий обрящет.
Но... бросьте лодкою бряцать:
В траве терзается образчик».

Образец

О, бедный Homo sapiens⁴,
Существованье – гнет.
Былые годы за пояс
Один такой заткнет.

Все жили в сушь и впроголодь,
В борьбе ожесточась,
И никого не трогало,
Что чудо жизни – с час.

С тех рук впивавши ландыши,
На те глаза дышав,
Из ночи в ночь валандавшись,
Гормя горит душа.

Одна из южных мазанок
Была других южней.
И ползала, как пасынок,
Трава в ногах у ней.

⁴ Человек разумный (лат.) .

Сушился холст. Бросается
Еще сейчас к груди
Плетень в ночной красавице,
Хоть год и позади.

Он незабвенен тем еще,
Что пылью припухал,
Что ветер лускал семечки,
Сорил по лопухам.

Что незнакомой мальвою
Вел, как слепца, меня,
Чтоб я тебя вымаливал
У каждого плетня.

Сошел и стал окидывать
Тех новых луж масла,
Разбег тех роц ракитовых,
Куда я письма слал.

Мой поезд только тронулся,
Еще вокзал, Москва,
Плясали в кольцах, в конусах
По насыпи, по рвам.

А уж гудели кобзами
Колодцы, и, пылясь,
Скрипели, бились об землю
Скирды и тополя.

Пусть жизнью связи портятся,
Пусть гордость ум вредит,
Но мы умрем со спертостью
Тех розысков в груди.

Развлеченья любимой

«Душистою веткою машучи...»

Душистою веткою машучи,
Впивая впотьмах это благо,
Бежала на чашечку с чашечки
Грозой одуренная влага.

На чашечку с чашечки скатываясь,
Скользнула по двум, – и в обеих
Огромною каплей агатовою
Повисла, сверкает, робеет.

Пусть ветер, по таволге веющий,
Ту капельку мучит и плющит.
Цела, не дробится, – их две еще
Целующихся и пьющих.

Смеются и вырваться силятся
И выпрямиться, как прежде,
Да капле из рылец не вылиться,
И не разлучатся, хоть режьте.

Сложа весла

Лодка колотится в сонной груди,
Ивы нависли, целуют в ключицы,
В локти, в уключины – о погоди,
Это ведь может со всяким случиться!

Этим ведь в песне тешатся все.
Это ведь значит – пепел сиреневый,
Роскошь крошеной ромашки в росе,
Губы и губы на звезды выменивать!

Это ведь значит – обнять небосвод,
Руки сплести вокруг Геракла громадного,
Это ведь значит – века напролет
Ночи на щелканье славок проматывать!

Весенний дождь

Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил
Лак экипажей, деревьев трепет.
Под луною на выкате гуськом скрипачи
Пробираются к театру. Граждане, в цепи!

Лужи на камне. Как полное слез
Горло – глубокие розы, в жгучих,
Влажных алмазах. Мокрый нахлест
Счастья – на них, на ресницах, на тучах.

Впервые луна эти цепи и трепет
Платьев и власть восхищенных уст
Гипсовую эпопею лепит,
Лепит никем не лепленный бюст.

В чем это сердце вся кровь его быстро
Хлынула к славе, схлынув со щек?
Вон она бьется: руки министра
Рты и аорты сжали в пучок.

Это не ночь, не дождь и не хором
Рвущееся: «Керенский, ура!»,
Это слепящий выход на форум
Из катакомб, безысходных вчера.

Это не розы, не рты, не ропот
Толп, это здесь, пред театром – прибой
Заколебавшейся ночи Европы,
Гордой на наших асфальтах собой.

Свистки милиционеров

Дворня бастует. Брезгуя
Мусором пыльным и тусклым,
Ночи сигают до брезгу
Через заборы на мускулах.

Возьтятся в вязах, падают,
Не удержавшись, с деревьев.
Вскакивают: за оградой
Север злодейств сереет.

И вдруг, – из садов, где твой
Лишь глаз ночевал, из милого
Душе твоей мрака, плотвой
Свисток расплескавшийся выловлен.

Милиционером зажат
В кулак, как он дергает жабрами
И горлом, и глазом, назад
По-рыбьи наискось задранным!

Трепещущего серебра
Пронзительная горошина,
Как утро, бодряще мокра,
Звездой за забор переброшена.

И там, где тускнеет восток
Чахоткою летнего Тиволи,
Валяетсядохлый свисток,
В пыли агонической вывалян.

Звезды летом

Рассказали страшное,
Дали точный адрес,
Отпирают, спрашивают.

Двигутся, как в театре.

Тишина, ты – лучшее
Из всего, что слышал.
Некоторых мучает,
Что летают мыши.

Июльской ночью слободы
Чудно белокуры.
Небо в бездне поводов,
Чтоб набедокурить.

Блещут, дышат радостью,
Обдают сияньем,
На таком-то градусе
И меридиане.

Ветер розу пробует
Приподнять по просьбе
Губ, волос и обуви,
Подолов и прозвищ.

Газовые, жаркие,
Осыпают в гравий
Всё, что им нашаркали,
Всё, что наиграли.

Уроки английского

Когда случилось петь Дездемоне, –
А жить так мало оставалось, –
Не по любви, своей звезде, она –
По иве, иве разрыдалась.

Когда случилось петь Дездемоне
И голос завела, крепясь,
Про черный день чернейший демон ей
Псалом плакучих русл припас.

Когда случилось петь Офелии, –
А жить так мало оставалось, –
Всю сушь души взмело и свеяло,
Как в бурю стебли с сеновала.

Когда случилось петь Офелии, –
А горечь слез осточертела, –
С какими канула трофеями?
С охапкой верб и чистотела.

Дав страсти с плеч отлечь, как рубищу,

Входили, с сердца замираньем,
В бассейн вселенной, стан свой любящий
Обдать и оглушить мирами.

Заняты философией

Определение поэзии

Это – круто налившийся свист,
Это – щелканье сдавленных льдинок,
Это – ночь, леденящая лист,
Это – двух соловьев поединок.

Это – сладкий заглохший горох,
Это – слезы вселенной в лопатках,
Это – с пультов и флейт – Фигаро
Низвергается градом на грядку.

Всё, что ночи так важно сыскать
На глубоких купаленных доньях,
И звезду донести до садка
На трепещущих мокрых ладонях.

Площе досок в воде – духота.
Небосвод завалился ольхою.
Этим звездам к лицу б хохотать,
Ан вселенная – место глухое.

Определение души

Спелой грушею в бурю слететь
Об одном безраздельном листе.
Как он предан – расстался с суком!
Сумасброд – задохнется в сухом!

Спелой грушею, ветра косей.
Как он предан, – «Меня не затреплет!»
Оглянись: отгремела в красе,
Отпылала, осыпалась – в пепле.

Нашу родину буря сожгла.
Узнаешь ли гнездо свое, птенчик?
О мой лист, ты пугливей щегла!
Что ты бьешься, о шелк мой застенчивый?

О, не бойся, приросшая песнь!
И куда порываться еще нам?

Ах, наречье смертельное «здесь» –
Невдомек содроганью сращенному.

Болезни земли

О еще! Раздастся ль только хохот
Перламутром, Иматрой бацилл,
Мокрым гулом, тьмой стафилококков,
И блеснут при молниях резцы,

Так – шабаш! Нешаткие титаны
Захлебнутся в черных сводах дня.
Тени стянет трепетом tetanus⁵,
И медянок запылит столбняк.

Вот и ливень. Блеск водобоязни,
Вихрь, обрывки бешеной слюны.
Но откуда? С тучи, с поля, с Клязьмы
Или с сардонической сосны?

Чьи стихи настолько нашумели,
Что и гром их болью изумлен?
Надо быть в бреду по меньшей мере,
Чтобы дать согласие быть землей.

Определение творчества

Разметав отвороты рубашки,
Волосато, как торс у Бетховена,
Накрывает ладонью, как шашки,
Сон и совесть, и ночь, и любовь оно.

И какую-то черную доведь⁶,
И – с тоскою какою-то бешеной –
К преставлению света готовит,
Конноборцем над пешками пешими.

А в саду, где из погреба, со льду,
Звезды благоуханно разохались,
Соловьём над лозою Изольды
Захлебнулась Тристанова заолодь.

И сады, и пруды, и ограды,
И кипящее белыми воплями

⁵ Столбняк (*лат.*) .

⁶ Доведь – шашка, проведенная в край поля, в дамы. (Прим. Б. Пастернака.)

Мирозданье – лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной.

Наша гроза

Гроза, как жрец, сожгла сирень
И дымом жертвенным застлала
Глаза и тучи. Расправляй
Губами вывих муравья.

Звон ведер сшиблен набекрень.
О, что за жадность: неба мало?!
В канаве бьется сто сердец.
Гроза сожгла сирень, как жрец.

В эмали – луг. Его лазурь,
Когда бы зябли, – соскоблили.
Но даже зяблик не спешит
Стряхнуть алмазный хмель с души.

У кадок пьют еще грозу
Из сладких шапок изобилья,
И клевер бурен и багров
В бордовых брызгах маляров.

К малине липнут комары.
Однако ж хобот малярный,
Как раз сюда вот, изувер,
Где роскошь лета розовой?!

Сквозь блузу заронить нарыв
И сняться красной балериной?
Всадить стрекало озорства,
Где кровь как мокрая листва?!

О, верь игре моей, и верь
Гремящей вслед тебе мигрени!
Так гневу дня судьба гореть
Дичком в черешенной коре.

Поверила? Теперь, теперь
Приблизь лицо, и, в озареньи
Святого лета твоего,
Раздую я в пожар его!

Я от тебя не утаю:
Ты прячешь губы в снег жасмина,
Я чую на моих тот снег,
Он тает на моих во сне.

Куда мне радость деть мою?
В стихи, в графленую осьмину?
У них растрескались уста
От ядов писчего листа.

Они, с алфавитом в борьбе,
Горят румянцем на тебе.

Заместительница

Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет,
У которой суставы в запястьях хрустят,
Той, что пальцы ломает и бросить не хочет,
У которой гостят и гостят и грустят.

Что от треска колод, от бравады Ракочи,
От стекляшек в гостиной, от стекла и гостей
По пианино в огне пробежится и вскочит
От розеток, костяшек, и роз, и костей.

Чтоб, прическу ослабив, и чайный и шальный,
Зачаженный бутон заколов за кушак,
Провальсировать к славе, шутя, полушалок
Закусивши, как муку, и еле дыша.

Чтобы, комкая корку рукой, мандарина
Холодящие дольки глотать, торопясь
В опоясанный люстрой, позади, за гардиной,
Зал, испариной вальса запахший опять.

Так сел бы вихрь, чтоб на пари
Порыв паров в пути
И мглу и иглы, как мюрид,
Не жмуря глаз снести.

И объявить, что не скакун,
Не шальный шепот гор,
Но эти розы на боку
Несут во весь опор.

Не он, не он, не шепот гор,
Не он, не топ подков,
Но только то, но только то,
Что – стянута платком.

И только то, что тюль и ток,
Душа, кушак и в такт
Смерчу умчавшийся носок
Несут, шумя в мечтах.

Им, им – и от души смеша,
И до упаду, в лоск,
На зависть мчащимся мешкам,
До слез, – до слез!

Песни вписьмах, чтобы нескучала

Воробьевы горы

Грудь под поцелуи, как под рукомойник!
Ведь не век, не сряду лето бьет ключом.
Ведь не ночь за ночью низкий рев гармоник
Подымаем с пыли, топчем и влечем.

Я слышал про старость. Страшны прорицанья!
Рук к звездам не вскинет ни один бурун.
Говорят – не веришь. На лугах лица нет,
У прудов нет сердца, Бога нет в бору.

Расколышь же душу! Всю сегодня выпень.
Это полдень мира. Где глаза твои?
Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень
Дятлов, туч и шишек, жара и хвои.

Здесь пресеклись рельсы городских трамваев.
Дальше служат сосны. Дальше им нельзя.
Дальше – воскресенье. Ветки отрывая,
Разбежится просек, по траве скользят.

Просевая полдень, Троицын день, гулянье,
Просит роща верить: мир всегда таков.
Так задуман чащей, так внушен поляне,
Так на нас, на ситцы пролит с облаков.

Mein liebchen, was willst du noch mehr?⁷

По стене сбежали стрелки.
Час похож на таракана.
Брось, к чему швырять тарелки,
Бить тревогу, бить стаканы?

С этой дачею дощатой
Может и не то случиться.
Счастье, счастьем нет пощады!
Гром не грянул, что креститься?

⁷ Любимая, что тебе еще угодно? (нем.)

Может молния ударить, –
Вспыхнет мокрою кабинкой.
Или всех щенят раздарят.
Дождь крыло пробьет дробинкой.

Всё еще нам лес – передней.
Лунный жар за елью – печью,
Всё, как стираный передник,
Туча сохнет и лепечет.

И когда к колодцу рвется
Смерч тоски, то мимоходом
Буря хвалит домоводство.
Что тебе еще угодно?

Год сгорел на керосине
Залетевшей в лампу мошкой.
Вон, зарею серо-синей
Встал он сонный, встал намокший.

Он глядит в окно, как в дужку,
Старый, страшный состраданьем.
От него мокра подушка,
Он зарыл в нее рыданья.

Чем утешить эту ветошь?
О, ни разу не шутивший,
Чем запущенного лета
Грусть заглохшую утишить?

Лес навис в свинцовых пасмах,
Сед и пасмурен репейник,
Он – в слезах, а ты – прекрасна,
Вся как день, как нетерпенье!

Что он плачет, старый олух?
Иль видал каких счастливей?
Иль подсолнечники в селах
Гаснут – солнца – в пыль и ливень?

Распад

Вдруг стало видимо далеко во все концы света.
Гоголь

Куда часы нам затесать?
Как скоротать тебя, Распад?
Поволжьем мира, чудеса
Взялись, бушуют и не спят.

И где привык сдаваться глаз
На милость засухи степной,
Она, туманная, взвилась
Революционною копной.

По элеваторам, вдали,
В пакгаузах, очумив крысят,
Пылают балки и кули,
И кровли гаснут и росят.

У звезд немой и жаркий спор:
Куда девался Балашов?
В скольких верстах? И где Хопер?
И воздух степи всполошен:

Он чует, он впивает дух
Солдатских бунтов и зарниц.
Он замер, обращаясь в слух.
Ложится – слышит: обернись!

Там – гул. Ни лечь, ни прикорнуть.
По площадям летает трут.
Там ночь, шатаясь на корню,
Целует уголь поутру.

Романовка

Степь

Как были те выходы в тишь хороши!
Безбрежная степь, как марина,
Вздыхает ковыль, шуршат мураши,
И плавает плач комариный,

Стога с облаками построились в цепь
И гаснут, вулкан на вулкане.
Примолкла и взмокла безбрежная степь,
Колеблет, относит, толкает.

Туман отовсюду нас морем обстиг,
В волчках волочась за чулками,
И чудно нам степью, как взморьем, брести –
Колеблет, относит, толкает.

Не стог ли в тумане? Кто поймет?
Не наш ли омет? Доходим. – Он.
– Нашли! Он самый и есть. – Омет,
Туман и степь с четырех сторон.

И Млечный Путь стороной ведет
На Керчь, как шлях, скотом пропылен.
Зайти за хаты, и дух займет:
Открыт, открыт с четырех сторон.

Туман снотворен, ковыль как мед,
Ковыль всем Млечным Путем рассорён.
Туман разойдется, и ночь обоймет
Омет и степь с четырех сторон.

Тенистая полночь стоит у пути,
На шлях навалилась звездами,
И через дорогу за тын перейти
Нельзя, не топча мирозданья.

Когда еще звезды так низко росли
И полночь в бурьян окунало,
Пылал и пугался намокший муслин,
Льнул, жался и жаждал финала?

Пусть степь нас рассудит и ночь разрешит.
Когда, когда не: – В Начале
Плыл Плач Комариный, Ползли Мураши,
Волчцы по Чулкам Торчали?

Закрой их, любимая! Запорошит!
Вся степь как до грехопаденья:
Вся – миром объята, вся – как парашют,
Вся – дыблящееся виденье!

Душная ночь

Накрапывало, – но негнулись
И травы в грозовом мешке.
Лишь пыль глотала дождь в пилюлях,
Железо в тихом порошке.

Селенье не ждало целенья,
Был мак, как обморок, глубок,
И рожь горела в воспаленьи.
И в лихорадке бредил Бог.

В осиротелой и бессонной,
Сырой, всемирной широте
С постов спасались бегством стоны,
Но вихрь, зарывшись, коротел.

За ними в бегстве слепли следом
Косые капли. У плетня

Меж мокрых веток с ветром бледным
Шел спор. Я замер. Про меня!

Я чувствовал, он будет вечен,
Ужасный, говорящий сад.
Еще я с улицы за речью
Кустов и ставней – не замечен.

Заметят – некуда назад:
Навек, навек заговорят.

Еще более душный рассвет

Всё утро голубь ворковал
У вас в окне.
На желобах,
Как рукава сырых рубах,
Мертвели ветки.
Накрапывало. Налегке
Шли пыльным рынком тучи,
Тоску на рыночном лотке,
Боюсь, мою
Баюча.

Я умолял их перестать.
Казалось, – перестанут.
Рассвет был сер, как спор в кустах,
Как говор арестантов.

Я умолял приблизить час,
Когда за окнами у вас
Нагорным ледником
Бушует умывальный таз
И песни колотой куски,
Жар наспанной щеки и лоб
В стекло горячее, как лед,
На подзеркальник льет.
Но высь за говором под стяг
Идущих туч
Не слышала мольбы
В запорошенной тишине,
Намокшей, как шинель,
Как пыльный отзвук молотьбы,
Как громкий спор в кустах.

Я их просил –
Не мучьте!
Не спится.
Но – моросило, и, топчась,
Шли пыльным рынком тучи,

Как рекруты, за хутор, поутру,
Брели не час, не век,
Как пленные австрийцы,
Как тихий хрип,
Как хрип:
«Испить,
Сестрица».

Попытка душу разлучить

Мучкап

Душа – душна, и даль табачного
Какого-то, как мысли, цвета.
У мельниц – вид села рыбацкого:
Седые сети и корветы.

Чего там ждут, томя картиною
Корыт, клешней и лишних крыльев,
Застлавши слез излишней тиною
Последний блеск на рыбьем рыле?

Ах, там и час скользит, как камешек
Заливом, мелью рикошета!
Увы, не тонет, нет, он там еще,
Табачного, как мысли, цвета.

Увижу нынче ли опять ее?
До поезда ведь час. Конечно!
Но этот час объят апатией
Морской, предгромовой, кромешной.

«Дикприем был, дикприход...»

Дик прием был, дик приход,
Еле ноги доволол.
Как воды набрала в рот,
Взор уперла в потолок.

Ты молчала. Ни за кем
Не рвался с такой тугой.
Если губы на замке,
Вешай с улицы другой.

Нет, не на#769; дверь, не в пробой,
Если на сердце запрет,
Но на весь одной тобой

Немутимо белый свет.

Чтобы знал, как балки брус
По-над лбом проволоку,
Что в глаза твои упрусь,
В непрорубную тоску.

Чтоб бежал с землей знакомств,
Видев издали, с пути
Гарь на солнце под замком,
Гниль на веснах взаперти.

Не вводи души в обман,
Оглуши, завесь, забей.
Пропитала, как туман,
Грудю белых отрубей.

Если душным полднем желт
Мышью пахнувший овин,
Обличи, скажи, что лжет
Лжесвидетельство любви.

«Попытка душу разлучить...»

Попытка душу разлучить
С тобой, как жалоба смычка,
Еще мучительно звучит
В названьях Ржакса и Мучкап.

Я их, как будто это ты,
Как будто это ты сама,
Люблю всей силою тщеты,
До помрачения ума.

Как ночь, уставшую сиять,
Как то, что в астме – кисея,
Как то, что даже антресоль
При виде плеч твоих трясло.

Чей шепот реял на брезгу?
О, мой ли? Нет, душою – твой
Он улетучивался с губ
Воздушной капли спиртовой.

Как в неге прояснялась мысль!
Безукоризненно. Как стон.
Как пеной, в полночь, с трех сторон
Внезапно озаренный мыс.

Возвращение

«Как усыпительна жизнь!..»

Как усыпительна жизнь!
Как откровенья бессонны!
Можно ль тоску размозжить
Об мостовые кессоны?

Где с железа ночь согнал
Каплей копленный сигнал,
И колеблет всхлипы звезд
В апокалипсисе мост,
Переплет, цепной обвал
Балок, ребер, рельс и шпал.

Где, шатаясь, подают
Руки, падают, поют.
Из объятий, и – опять
Не устанут повторять.

Где внезапно зонд вонзил
В лица вспыхнувший бензин
И остался, как загар,
На тупых концах сигар...

Это огненный тюльпан,
Полевой огонь бегоний
Жадно нюхает толпа,
Заслонив ладонью.

И сгорают, как в стыде,
Пыльники, нежнее лент,
Каждый пятый – инженер
И студент (интеллигенты).
Я с ними не знаком.
Я послан богом мучить
Себя, родных и тех,
Которых мучить грех.

Под Киевом – пески
И выплеснутый чай,
Присохший к жарким лбам,
Пылающим по классам.
Под Киевом, в числе
Песков, как кипяток,
Как смытый пресный след
Компресса, как отек...
Пыхтенье, сажу, жар
Не соснам разжижать.

Гроза торчит в бору,
Как всаженный топор.
Но где он, дроворуб?
До коих пор? Какой
Тропой идти в депо?

Сажают пассажиров,
Дают звонок, свистят,
Чтоб копоть послужила
Пустыней миг спустя.

Базары, озаренья
Ночных эспри и мглы,
А днем, в сухой спирее
Вопль полдня и пилы.

Идешь, и с запасных
Доносится, как всхнык,
И начали стираться
Клохтанья и матрацы.

Я с ними не знаком.
Я послан богом мучить
Себя, родных и тех,
Которых мучить грех.

«Мой сорт», кефир, менадо.
Чтоб разрыдаться, мне
Не так уж много надо, –
Довольно мух в окне.

Охлынет поле зренья,
С салфетки набежит,
От поросенка в хрене,
Как с полусонной ржи.

Чтоб разрыдаться, мне
По край, чтоб из редакций
Тянуло табачком
И падал жар ничком.

Чтоб щелкали с кольца
Клесты по канцеляриям
И тучи в огурцах
С отчаянья стрелялись.

Чтоб полдень осязал
Сквозь сон: в обед трясутся
По звону квизисан
Столы в пустых присутствиях,

И на лоб по жаре

Сочились сквозь малинник,
Где – блеск оранжерей,
Где – белый корпус клиники.

Я с ними не знаком.
Я послан богом мучить
Себя, родных и тех,
Которых мучить грех.

Возможно ль? Этот полдень
Сейчас, южной губернией,
Не сир, не бос, не голоден
Блаженствует, соперник?

Вот этот, душный, лишний,
Вокзальный вор, валанда,ла,
Следит с соседских вишен
За вышиваньем ангела?

Синеет морем точек,
И, низясь, тень без косточек
Бросает, горсть за горстью
Измученной сорочке?

Возможно ль? Те вот ивы –
Их гонят с рельс шлагбаумами –
Бегут в объятья дива,
Обращены на взбалмошность?

Перенесутся за ночь,
С крыльца вдохнут эссенции
И бросятся хозяйничать
Порывом полотенец?

Увидят тень орешника
На каменном фундаменте?
Узнают день, сгоревший
С восхода на свиданьи?

Зачем тоску упрямить,
Перебирая мелочи?
Нам изменяет память,
И гонит с рельсов стрелочник.

Усебя дома

Жар на семи холмах,
Голуби в тлелом сенце.
С солнца спадает чалма:
Время менять полотенце

(Мокнет на днище ведра)
И намотать на купол.

В городе – говор мембран,
Шарканье клумб и кукол.
Надо гардину зашить:
Ходит, шагает масоном.
Как усыпительно – жить!
Как целоваться – бессонно!

Грязный, гремучий, в постель
Падает город с дороги.
Нынче за долгую степь
Веет впервые здоровьем.
Черных имен духоты
Не исчерпать.
Звезды, плацкарты, мосты,
Спать!

Елене

Я и непечатным
Словом не побрезговал бы,
Да на ком искать нам?
Не на ком и не с кого нам.

Разве просит арум
У болота милостыни?
Ночи дышат даром
Тропиками гниlostными.

Будешь – думал, чайл –
Ты с того утра виднеться,
Век в душе качаясь
Лилиею, праведница!

Луг дружил с замашкой
Фауста, что ли, Гамлета ли,
Обегал ромашкой,
Стебли по ногам летали.

Или еле-еле,
Как сквозь сон овеивая
Жемчуг ожерелья
На плече Офелиином.

Ночью бредил хутор:
Спать мешали перистые
Тучи. Дождик кутал
Ниву тихой переступью

Осторожных капель.
Юность в счастье плавала, как
В тихом детском храпе
Наспанная наволока.

Думал, – Трои б век ей,
Горьких губ изгиб целуя:
Были дивны веки
Царственные, гипсовые.

Милый, мертвый фартук
И висок пульсирующий.
Спи, царица Спарты,
Рано еще, сыро еще.

Горе не на шутку
Разыгралось, навеселе.
Одному с ним жутко.
Сбесится, – управиться ли?

Плачь, шепнуло. Гложет?
Жжет? Таковую ж на щеку ей!
Пусть судьба положит –
Матерью ли, мачехой ли.

Какуних

Лицо лазури пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.
Подыметса, шелохнется ли сом, –
Оглушены. Не слышат. Далекы.

Очам в снопах, как кровлям, тяжело.
Как угли, блещут оба очага.
Лицо лазури пышет над челом
Недышащей подруги в бочагах,
Недышащей питомицы осок.

То ветер смех люцерны вдоль высот,
Как поцелуй воздушный, пронесет,
То, княженикой с топи угощен,
Ползет и губы пачкает хвощом
И треплет речку веткой по щеке,
То киснет и хмелеет в тростнике.

У окуня ли ёкнут плавники, –
Бездонный день – огромен и пунцов.
Поднос Шелони – черен и свинцов.
Не свесть концов и не поднять руки...

Лицо лазури пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.

Лето

Тянулось в жажде к хоботкам
И бабочкам и пятнам,
Обоим память оботкав
Медовым, майным, мятным.

Не ход часов, но звон цепов
С восхода до захода
Вонзался в воздух сном шипов,
Заворожив погоду.

Бывало – нагулявшись всласть,
Закат сдавал цикадам
И звездам и деревьям власть
Над кухнею и садом.

Не тени, – балки месяц клал,
А то бывал в отлучке,
И тихо, тихо ночь текла
Трусцой, от тучки к тучке.

Скорей со сна, чем с крыши; скорей
Забывчивый, чем робкий,
Топтался дождик у дверей,
И пахло винной пробкой.

Так пахла пыль. Так пах бурьян.
И, если разобраться,
Так пахли прописи дворян
О равенстве и братстве.

Вводили земство в волостях,
С другими – вы, не так ли?
Дни висли, в кислице блестя,
И винной пробкой пахли.

Гроза, моментальная навек

А затем прощалось лето
С полустанком. Снявши шапку,
Сто слепящих фотографий
Ночью снял на память гром.

Меркла кисть сирени. В это
Время он, нарвав охапку
Молний, с поля ими трафил
Озарить управский дом.

И когда по кровле зданья
Разлилась волна злорадства
И, как уголь по рисунку,
Грянул ливень всем плетнем,

Стал мигать обвал сознанья:
Вот, казалось, озарятся
Даже те углы рассудка,
Где теперь светло, как днем!

Послесловье

«Любимая, – жуть! Когда любит поэт...»

Любимая, – жуть! Когда любит поэт,
Влюбляется бог неприкаянный.
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых.

Глаза ему тонны туманов слезят.
Он заслан. Он кажется мамонтом.
Он вышел из моды. Он знает – нельзя:
Прошли времена и – безграмотно.

Он видит, как свадьбы справляют вокруг.
Как спаивают, просыпаются.
Как общелягушечью эту икру
Зовут, обрядив ее, – паюсной.

Как жизнь, как жемчужную шутку Ватто,
Умеют обнять табакеркою.
И мстят ему, может быть, только за то,
Что там, где кривят и коверкают,

Где лжет и кадит, ухмыляясь, комфорт
И трутнями трутся и ползают,
Он вашу сестру, как вакханку с амфор,
Подымет с земли и использует.

И таянье Андов вольет в поцелуй,
И утро в степи, под владычеством
Пылящихся звезд, когда ночь по селу
Белеющим бляньем тычется.

И всем, чем дышалось оврагам века,
Всей тьмой ботанической ризницы
Пахнёт по тифозной тоске тюфяка,
И хаосом зарослей брызнется.

«Давай ронять слова...»

Мой друг, ты спросишь, кто велит,
Чтоб жглась юродивого речь?

Давай ронять слова,
Как сад – янтарь и цедру,
Рассеянно и щедро,
Едва, едва, едва.

Не надо толковать,
Зачем так церемонно
Мареной и лимоном
Обрызгнута листва.

Кто иглы заслезил
И хлынул через жерди
На ноты, к этажерке
Сквозь шлюзы жалюзи.

Кто коврик за дверьми
Рябиной иссурьмил,
Рядном сквозных, красивых
Трепещущих курсивов.

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб август был велик,
Кому ничто не мелко,
Кто погружен в отделку

Кленового листа
И с дней Экклезиаста
Не покидал поста
За теской алебаstra?

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб губы астр и далий
Сентябрьские страдали?
Чтоб мелкий лист раки
С седых кариатид
Слетал на сырость плит
Осенних госпиталей?

Ты спросишь, кто велит?
– Всесильный Бог деталей,
Всесильный Бог любви,
Ягайлов и Ядвиг.

Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя, – подробна.

Имелось

Засим, имелся сеновал
И пахнул винной пробкой
С тех дней, что август миновал
И не пололи тропки.

В траве, на кислице, меж бус
Брильянты, хмурясь, висли,
По захладелости на вкус
Напоминая рислинг.

Сентябрь составлял статью
В извозчищем хозяйстве,
Летал, носил и по чутью
Предупреждал ненастье.

То, застя двор, водой с винцом
Желтил песок и лужи,
То с неба спринцевал свинцом
Оконниц полукружья.

То золотил их, залетев
С куста за хлев, к крестьянам,
То к нашему стеклу, с дерев
Пожаром листьев прянув.

Есть марки счастья. Есть слова
Vin gai, vin triste⁸, – но верь мне,
Что кислица – травой трава,
А рислинг – пыльный термин.

Имелась ночь. Имелось губ
Дрожание. На веках висли
Брильянты, хмурясь. Дождь в мозгу
Шумел, не отдаваясь мыслью.

Казалось, не люблю, – молюсь

⁸ Вино веселья, вино грусти (фр.) .

И не целую, – мимо

Не век, не час плывет моллюск,
Свеченьем счастья тмимый.

Как музыка: века в слезах,
А песнь не смеет плакать,
Тряслась, не прорываясь в ах! –
Коралловая мякоть.

«Любить,– идти,– несмолкнул гром...»

Любить, – идти, – не смолкнул гром,
Топтать тоску, не знать ботинок,
Пугать ежей, платить добром
За зло брусники с паутиной.

Пить с веток, бьющих по лицу,
Лазурь с отскоку полосую:
«Так это эхо?» – и к концу
С дороги сбиться в поцелуях.

Как с маршем, бресть с репьем на всем.
К закату знать, что солнце старше
Тех звезд и тех телег с овсом,
Той Маргариты и корчмарши.

Терять язык, абонемент
На бурю слез в глазах валькирий,
И в жар всем небом онемев,
Топить мачто#769;вый лес в эфире.

Разлегшись, сгресть, в шипах, клочьями
Событья лет, как шишки ели:
Шоссе; сошествие Корчмы;
Светало; зябли; рыбу ели.

И раз свалясь, запеть: «Седой,
Я шел и пал без сил. Когда-то
Давился город лебедой,
Купавшейся в слезах солдаток.

В тени безлунных длинных риг,
В огнях баклаг и бакалеей,
Наверное, и он – старик
И тоже следом околеет».

Так пел я, пел и умирал.

И умирал, и возвращался
К ее рукам, как бумеранг,
И – сколько помнится – прощался.

Послесловье

Нет, не я вам печаль причинил.
Я не стоил забвения родины.
Это солнце горело на каплях чернил,
Как в кистях запыленной смородины.

И в крови моих мыслей и писем
Завелась кошениль.
Этот пурпур червца от меня независим.
Нет, не я вам печаль причинил.

Это вечер из пыли лепился и, пышучи,
Целовал вас, задохшись в охре, пылью.
Это тени вам щупали пульс. Это, вышедши
За плетень, вы полям подставляли лицо
И пылали, плывя по олифе калиток,
Полумраком, золою и маком залитых.

Это – круглое лето, горев в ярлыках
По прудам, как багаж солнцепеком заляпанных,
Сургучом опечатало грудь бурлака
И сожгло ваши платья и шляпы.

Это ваши ресницы слипались от яркости,
Это диск одичалый, рога истесав
Об ограды, бодаясь, крушил палисад.
Это – запад, карбункулом вам в волоса
Залетев и гудя, угасал в полчаса,
Осыпая багрянец с малины и бархатцев.
Нет, не я, это – вы, это ваша краса.

Конец

Наяву ли всё? Время ли разгуливать?
Лучше вечно спать, спать, спать, спать
И не видеть снов.

Снова – улица. Снова – полог тюлевый,
Снова, что ни ночь – степь, стог, стон,
И теперь и впредь.

Листьям в августе, с астмой в каждом атоме,
Снится тишь и темь. Вдруг бег пса

Пробуждает сад.

Ждет – улягутся. Вдруг – гигант из затеми,
И другой. Шаги. «Тут есть болт».
Свист и зов: тубо!

Он буквально ведь обливал, обваливал
Нашим шагом шлях! Он и тын
Истяжал тобой.

Осень. Изжелта-сизый
Ах, как и тебе, прель, м
Как приелось жить!

О, не вовремя ночь кади
Паровозов: в дождь каж
Рвется в степь, как те.

Окна сцены мне делают
Рвется с петель дверь, ц
Лед ее локтей.

Познакомь меня с кем-н
Как они, страдой южны
Пустырей и ржи.

Темы и вариации

Пять повестей

Вдохновение

По заборам бегут амбразуры,
Образуются бреши в стене,
Когда ночь оглашается фуруй
Повестей, неизвестных весне.

Без клещей приближенье фургона
Вырывает из ниш костыли
Только гулом свершенных прогонов,
Подымающих пыль издали.

Этот грохот им слышен впервые.
Завтра, завтра понять я вам дам,
Как рвались из ворот мостовые,
Вылетая по жарким следам.

Как в росистую хвойную скорбкость

Скипидарной, как утро, струи
Погружали постройки свой корпус
И лицо окунал конвоир.

О, теперь и от лип не в секрете:
Город пуст по зарям оттого,
Что последний из смертных в карете
Под стихом и при нем часовой.

В то же утро, ушам не поверя,
Протереть не успевши очей,
Сколько бедных, истерзанных перьев
Рвется к окнам из рук рифмачей!

1921

Встреча

Вода рвалась из труб, из луночек,
Из луж, с заборов, с ветра, с кровель,
С шестого часа пополуночи,
С четвертого и со второго.

На тротуарах было скользко,
И ветер воду рвал, как вретище,
И можно было до Подольска
Добраться, никого не встретивши.

В шестом часу, куском ландшафта
С внезапно подсыревшей лестницы,
Как рухнет в воду, да как треснет
Усталое: «Итак, до завтра!»

Автоматического блока
Терзанья дальше начинались,
Где в предвкушеньи водостоков
Восток шаманил машинально.

Дремала даль, рядясь неряшливо
Над ледяной окрошкой в иней,
И вскрикивала и покашливала
За пьяной мартовской ботвиньей.

И мартовская ночь и автор
Шли рядом, и обоих спорящих
Холодная рука ландшафта
Вела домой, вела со сборища.

И мартовская ночь и автор
Шли шибко, вглядываясь изредка
В мелькавшего как бы взаправду

И вдруг скрывавшегося призрака.

То был рассвет. И амфитеатром,
Явившимся на зов предвестницы,
Неслось к обоим это завтра,
Произнесенное на лестнице.

Оно с багетом шло, как рамошник.
Деревья, здания и храмы
Нездешними казались, тамошними,
В провале недоступной рамы.

Они трехъярусным гекзаметром
Смещались вправо по квадрату.
Смещенных выносили замертво,
Никто не замечал утраты.

1921

Маргарита

Разрывая кусты на себе, как силок,
Маргаритиных стиснутых губ лиловей,
Горячей, чем глазной Маргаритин белок,
Бился, щелкал, царил и сиял соловей.

Он как запах от трав исходил. Он как ртуть
Очумелых дождей меж черемух висел.
Он кору одурял. Задыхаясь, ко рту
Подступал. Оставался висеть на косе.

И когда, изумленной рукой проводя
По глазам, Маргарита влеклась к серебру,
То казалось, под каской ветвей и дождя
Повалилась без сил амазонка в бору.

И затылок с рукою в руке у него,
А другую назад заломила, где лег,
Где застрял, где повис ее шлем теневой,
Разрывая кусты на себе, как силок.

1919

Мефистофель

Из массы пыли за заставы
По воскресеньям высыпали,
Меж тем как, дома не застав их,
Ломились ливни в окна спален.

Велось у всех, чтоб за обедом
Хотя б на третье дождь был подан,
Меж тем как вихрь – велосипедом
Летал по комнатным комодам.

Меж тем как там до потолков их
Взлетали шелковые шторы,
Расталкивали бестолковых
Пруды, природа и просторы.

Длиннейшим поездом линеек
Позднее стягивались к валу,
Где тень, пугавшая коней их,
Ежевечерне оживала.

В чулках как кровь, при паре бантов,
По залитой зарей дороге,
Упав, как лямки с барабана,
Пылили дьяволы ноги.

Казалось, захлестав из низкой
Листвы струей высокомерья,
Снесла б весь мир надменность диска
И терпит только эти перья.

Считая ехавших, как вехи,
Едва прикладываясь к шляпе,
Он шел, откидываясь в смехе,
Шагал, приятеля облапя.

1919

Шекспир

Извозчий двор и встающий из вод
В уступах – преступный и пасмурный Тауэр,
И звонкость подков, и простуженный звон
Вестминстера, глыбы, закутанной в траур.

И тесные улицы; стены, как хмель,
Копящие сырость в разросшихся бревнах,
Угрюмых, как копоть, и бражных, как эль,
Как Лондон, холодных, как поступь, неровных.

Спиральями, мешкотно падает снег.
Уже заперали, когда он, обрюзгший,
Как сползший набрюшник, пошел в полусне
Валить, засыпая уснувшую пустошь.

Оконце и зерна лиловой слюды
В свинцовых ободьях. – «Смотря по погоде.

А впрочем... А впрочем, соснем на свободе.
А впрочем – на бочку! Цирюльник, воды!»

И, бреясь, гогочет, держась за бока,
Словам остряка, не уставшего с пира
Цедить сквозь приросший мундштук чубука
Убийственный вздор.
А меж тем у Шекспира
Остричь пропадает охота. Сонет,
Написанный ночью с огнем, без помарок,
За дальним столом, где подкисший ранет
Ныряет, обнявшись с клешнею омара,

Сонет говорит ему:
«Я признаю
Способности ваши, но, гений и мастер,
Сдается ль, как вам, и тому, на краю
Бочонка, с намыленной мордой, что мастью
Весь в молнию я, то есть выше по касте,
Чем люди, – короче, что я обдаю
Огнем, как, на нюх мой, зловоньем ваш кнастер?»

Простите, отец мой, за мой скептицизм
Сыновний, но, сэр, но, милорд, мы – в трактире.
Что мне в вашем круге? Что ваши птенцы
Пред плещущей чернью? Мне хочется шири!

Прочтите вот этому. Сэр, почему ж?
Во имя всех гильдий и биллей! Пять ярдов –
И вы с ним в бильярдной, и там – не пойму,
Чем вам не успех популярность в бильярдной?»

– Ему?! Ты сбесился? – И кличет слугу,
И, нервно играя малаговой веткой,
Считает: полпинты, французский рагу –
И в дверь, запустя в привиденье салфеткой.

1919

Тема свариациями

...Вы не видали их,
Египта древнего живущих изваяний,
С очами тихими, недвижимых и немых,
С челом, сияющим от царственных венчаний.

.....
Но вы не зрели их, не видели меж нами
И теми сфинксами таинственную связь.

Ап. Григорьев

Тема

Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа.
Скала и – Пушкин. Тот, кто и сейчас,
Закрыв глаза, стоит и видит в сфинксе
Не нашу дичь: не домыслы в тупик
Поставленного грека, не загадку,
Но предка: плоскогубого хамита,
Как оспу, перенесшего пески,
Изрытого, как оспую, пустыней,
И больше ничего. Скала и шторм.

В осатаненьи льющееся пиво
С усов обрывов, мысов, скал и кос,
Мелей и миль. И гул, и полыханье
Окаченной луной, как из лохани,
Пучины. Шум и чад и шторм взасос.
Светло как днем. Их озаряет пена.
От этой точки глаз нельзя отвлечь.
Прибой на сфинкса не жалеет свеч
И заменяет свежими мгновенно.
Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа.

На сфинксовых губах – соленый вкус
Туманностей. Песок кругом заляпан
Сырыми поцелуями медуз.

Он чешуи не знает на сиренах,
И может ли поверить в рыбий хвост
Тот, кто хоть раз с их чашечек коленных
Пил бившийся как об лед отблеск звезд?

Скала и шторм и – скрытый ото всех
Нескромных – самый странный, самый тихий,
Играющий с эпохи Псамметиха
Углами скул пустыни детский смех...

Вариации

1. Оригинальная

Над шабашем скал, к которым
Сбегаются с пеной у рта,
Чадя, трапезундские штормы,
Когда якорям и портам,

И выбросам волн, и разбухшим
Утопленникам, и седым
Мосткам набивается в уши

Клокастый и пыльзенский дым.

Где ввысь от утеса подброшен
Фонтан, и кого-то позвать
Срываются гребни, но – тошно
И страшно, и – рвется фосфат.

Где белое бешенство петель,
Где грохот разостланных гроз,
Как пиво, как жеваный бетель,
Песок осушает взасос.

Что было наследием кафров?
Что дал царскосельский лицей?
Два бога прощались до завтра,
Два моря менялись в лице:

Стихия свободной стихии
С свободной стихией стиха.
Два дня в двух мирах, два ландшафта,
Две древние драмы с двух сцен.

2.Подражательная

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн.
Был бешен шквал. Песком сгущенный,
Кровавился багровый вал.
Такой же гнев обуревал
Его, и, чем-то возмущенный,
Он злобу на себе срывал.

В его устах звучало «завтра»,
Как на устах иных «вчера».
Еще не бывших дней жара
Воображалась в мыслях кафру,
Еще не выпавший туман
Густые целовал ресницы.
Он окунал в него страницы
Своей мечты. Его роман
Вставал из мглы, которой климат
Не в силах дать, которой зной
Прогнать не может никакой,
Которой ветры не подымут
И не рассеют никогда
Ни утро мая, ни страда.
Был дик открывшийся с обрыва
Бескрайный вид. Где огибал
Купальню гребень белогривый,
Где смерч на воле погибал,
В последний миг еще качаясь,
Трубя и в отклике отчаясь,

Борясь, чтоб захлебнуться вмиг
И согнуться вовсе с глаз. Был дик
Открывшийся с обрыва сектор
Земного шара, и дика
Необоримая рука,
Пролившая соленый нектар
В пространство слепнущих снастей,
На протяженье дней и дней,
В сырые сумерки крушений,
На милость черных вечеров...
На редкость дик, на восхищенье
Был вольный этот вид суров.

Он стал спускаться. Дикий чашник
Гремел ковшом, и через край
Бежала пена. Молочай,
Полынь и дрок за набалдашник
Цеплялись, затрудняя шаг,
И вихрь степной свистел в ушах.
И вот уж бережок, пузырясь,
Заколыхал камыш и ирис,
И набежала рябь с концов.
Но неподернуто-свинцов
Посередине мрак лиловый.

А рябь! Как будто рыболова
Свинцовый грузик заскользил,
Осунулся и лег на ил
С непереимчивой ужимкой,
С какою пальцу самолов
Умеет намекнуть без слов:
Вода, мол, вот и вся поимка.
Он сел на камень. Ни одна
Черта не выдала волненья,
С каким он погрузился в чтенье
Евангеля морского дна.

Последней раковине дорог
Сердечный шелест, капля сна,
Которой мука солонна,
Ее сковавшая. Из створок
Не вызвать и клинком ножа
Того, чем боль любви свежа.
Того счастливейшего всхлипа,
Что хлынул вон и создал риф,
Кораллам губы обагрив,
И замер на устах полипа.

3

Мчались звезды. В море мылись мысы.
Слепла соль. И слезы высыхали.

Были темны спальни. Мчались мысли,
И прислушивался сфинкс к Сахаре.

Плыли свечи. И казалось, стынет
Кровь колосса. Заплывали губы
Голубой улыбкою пустыни.
В час отлива ночь пошла на убыль.

Море тронул ветерок с Марокко.
Шел самум. Храпел в снегах Архангельск.
Плыли свечи. Черновик «Пророка»
Просыхал, и брезжил день на Ганге.

4

Облако. Звезды. И сбоку
Шлях и – Алеко. – Глубок
Месяц Земфирина ока –
Жаркий бездонный белок.

Задраны к небу оглобли.
Лбы голубее олив.
Табор глядит исподлобья,
В звезды мониста вперив.

Это ведь кровли Халдеи
Напоминает! Печет,
Лунно; а кровь холодеет.
Ревность? Но ревность не в счет!

Стой! Ты похож на сирийца.
Сух, как скопец-звездочет.
Мысль озарилась убийством.
Мщенье? Но мщенье не в счет!

Тень как навязчивый евнух.
Табор покрыло плечо.
Яд? Но по кодексу гневных
Самоубийство не в счет!

Прянул, и пыхнули ноздри.
Не уходился еще?
Тише, скакун, – заподозрят.
Бегство? Но бегство не в счет!

5

Цыганских красок достигал,
Болел цингой и тайн не делал
Из черных дырок тростника
В краю воров и виноделов.

Забором крался конокрад,
Загаром крылся виноград,
Клевали кисти воробьи,
Кивали безрукавки чучел,
Но, шорох гроздий перебив,
Какой-то рокот мёр и мучил.

Там мрело море. Берега
Гремели, осыпался гравий.
Тошнило гребни изрыгать,
Барашки грязные играли.

И шквал за Шабо бушевал,
И выворачивал причалы.
В рассоле крепла бечева,
И шторма тошнота крепчала.

Раскатывался балкой гул,
Как баней шваркнутая шайка,
Как будто говорил Кагул
В ночах с очаковскою чайкой.

6

В степи охладевал закат, –
И вслушивался в звон уздечек,
В акцент звонков и языка
Мечтательный, как ночь, кузнечик.

И степь порою спрохвала
Волок, как цепь, как что-то третье,
Как выпавшие удила,
Стреноженный и сонный ветер.
Истлела тряпок пестрота,
И, захладев, как медь безмена,
Завел глаза, чтоб стрекотать,
И засинел, уже безмерный,
Уже, как песнь, безбрежный юг,
Чтоб перед этой песнью дух
Невесть каких ночей, невесть
Каких стоянок перевесть.

Мгновенье длился этот миг,
Но он и вечность бы затмил.

1918

Болезнь

Больной следит. Шесть дней подряд
Смерчи беснуются без устали.
По кровле катятся, бодрят,
Бушуют, падают в бесчувствии.

Средь вьюг проходит Рождество.
Он видит сон: пришли и подняли.
Он вскакивает: «Не его ль?»
(Был зов. Был звон. Не новогодний ли?)

Вдали, в Кремле гудит Иван,
Плывет, ныряет, зарывается.
Он спит. Пурга, как океан
В величьи, – тихой называется.

2

С полу, звездами облитого,
К месяцу, вдоль по ограде
Тянется волос ракитовый,
Дыбятся клочья и пряди.

Жутко ведь, вея, окутывать
Дымами Кассиопею!
На утро куколкой туговой
Церковь свернуться успеет.

Что это? Лавры ли Киева
Спят купола или Эдду
Север взлелеял и выявил
Перлом предвечного бреда?

Так это было. Тогда-то я,
Дикий, скользкий, растущий,
Встал среди сада рогатого
Призраком тени пастушьей.

Был он как лось. До колен ему
Снег доходил, и сквозь ветви
Виделась взору оленьему
На полночь легшая четверть.

Замер загадкой, как вкопанный,
Глядя на поле лепное:
В звездную стужу как сноп оно
Белой плескало копною.

До снегу гнулся. Подхватывал
С полу, всей мукой извилин
Звезды и ночь. У сохатого
Хаос веков был не спилен.

3

Может статья так, может иначе,
Но в несчастный некий час
Духовенств душней, черней иночеств
Постигает безумье нас.

Стужа. Ночь в окне, как приличие,
Соблюдает холод льда.
В шубе, в креслах Дух и мурлычет – и
Всё одно, одно всегда.

И чекан сука, и щека его,
И паркет, и тень кочерги
Отливают сном и раскаяньем
Сутки сплошь грешившей пурги.

Ночь тиха. Ясна и морозна ночь,
Как слепой щенок – молоко,
Всею темью пихт неосознанной
Пьет сиянье звезд частокол.

Будто каплет с пихт. Будто теплятся.
Будто воском ночь заплыла.
Лапой ели на ели слепнет снег,
На дупле – силуэт дупла.

Будто эта тишь, будто эта высь,
Элегизм телеграфной волны –
Ожиданье, сменившее крик: «Отзовись!»
Или эхо другой тишины.

Будто нем он, взгляд этих игл и ветвей,
А другой, в высотах, – тугоух,
И сверканье пути на раскатах – ответ
На взыванье чьего-то ау.

Стужа. Ночь в окне, как приличие,
Соблюдает холод льда.
В шубе, в креслах Дух и мурлычет – и
Всё одно, одно всегда.

Губы, губы! Он стиснул их до крови,
Он трясется, лицо обхватив.
Вихрь догадок родит в биографе
Этот мертвый, как мел, мотив.

4. Фуфайка больного

От тела отдельную жизнь, и длинней
Ведет, как к груди непричастный пингвин
Бескрылая кофта больного – фланель:

То каплю тепла ей, то лампу придвинь.

Ей помнятся лыжи. От дуг и от тел,
Терявшихся в мраке, от сбруи, от бар
Валило. Казалось – сочельник потел!
Скрипели, дышали езда и ходьба.

Усадьба и ужас, пустой в остальном:
Шкафы с хрусталем и ковры и лари.
Забор привлекало, что дом воспален.
Снаружи казалось, у люстр плеврит.

Снедаемый небом, с зимою в очах,
Распухший кустарник был бел, как испуг.
Из кухни, за сани, пылавший очаг
Клал на снег огромные руки стряпух.

5.Кремль вбуран конца 1918года

Как брошенный с пути снегам
Последней станцией в развалинах,
Как полем в полночь, в свист и гам,
Бредущий через силу в валяных,

Как пред концом, в упаде сил
С тоски взывающий к метелице,
Чтоб вихрь души не угасил,
К поре, как тьмою всё застелется.

Как схваченный за обшлага
Хохочущею вьюгой нарочный,
Ловившей кисти башлыка,
Здоровоющеюся в наручных,

А иногда! – А иногда,
Как пригнанный канатом накороть
Корабль, с гуденьем, прочь к грядам
Срывающийся чудом с якоря,

Последней ночью, несравним
Ни с чем, какой-то странный, пенный весь,
Он, Кремль, в оснастке стольких зим,
На нынешней срывает ненависть.

И грандиозный, весь в былом,
Как визионера дивинация,
Несется, грозный, напролом,
Сквозь неистекший в девятнадцатый.

Под сумерки к тебе в окно
Он всею медью звонниц ломится.
Боится, видно, – год мелькнет, –

Упустит и не познакомится.

Остаток дней, остаток вьюг,
Сужденных башням в восемнадцатом,
Бушует, прядает вокруг,
Видать – не наигрались насыто.

За морем этих непогод
Предвижу, как меня, разбитого,
Ненаступивший этот год
Возьметса сызнава воспитывать.

6.Январь 1919года

Тот год! Как часто у окна
Нашептывал мне, старый: «Выкинься».
А этот, новый, всё прогнал
Рождественскою сказкой Диккенса.

Вот шепчет мне: «Забудь, встряхнись!»
И с солнцем в градуснике тянется
Точь-в-точь, как тот дарил стрихнин
И падал в пузырек с цианистым.

Его зарей, его рукой,
Ленивым веяньем волос его
Почерпнут за окном покой
У птиц, у крыш, как у философов.

Ведь он пришел и лег лучом
С панелей, с снеговой повинности.
Он дерзок и разгорячен,
Он просит пить, шумит, не вынести.

Он вне себя. Он внес с собой
Дворовый шум и – делать нечего:
На свете нет тоски такой,
Которой снег бы не вылечивал.

7

Мне в сумерки ты всё – пансионеркою,
Всё – школьницей. Зима. Закат лесничим
В лесу часов. Лежу и жду, чтоб смерклося,
И вот – айда! Аукаемся, кличем.

А ночь, а ночь! Да это ж ад, дом ужасов!
Проведай ты, тебя б сюда пригнало!
Она – твой шаг, твой брак, твоё замужество,
И тяжелей дознаний трибунала.

Ты помнишь жизнь? Ты помнишь, стайей горлинок

Летели хлопья грудью против гула.
Их вихрь крутил, кутя, валясь прожорливо
С лотков на снег, их до панелей гнуло!

Перебегала ты! Ведь он подсовывал
Ковром под нас салазки и кристаллы!
Ведь жизнь, как кровь, до облака пунцового
Пожаром вьюги озарясь, хлестала!

Движенье помнишь? Помнишь время? Лавочниц?
Палатки? Давку? За разменом денег
Холодных, звонких, – помнишь, помнишь давешних
Колоколов предпраздничных гуденье?

Увы, любовь! Да, это надо высказать!
Чем заменить тебя? Жирами? Бромом?
Как конский глаз, с подушек, жаркий, искоса
Гляжу, страшась бессонницы огромной.

Мне в сумерки ты будто всё с экзамена,
Всё – с выпуска. Чиж, мигрень, учебник.
Но по ночам! Как просят пить, как пламенны
Глаза капсуль и пузырьков лечебных!

1918–1919

Разрыв

1

О ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б,
И я б опоил тебя чистой печалью!
Но так – я не смею, но так – зуб за зуб?
О скорбь, зараженная ложью вначале,
О горе, о горе в проказе!

О ангел залгавшийся, – нет, не смертельно
Страданье, что сердце, что сердце в экземе!
Но что же ты душу болезнью нательной
Даришь на прощанье? Зачем же бесцельно
Целуешь, как капли дождя, и, как время,
Смеяшь, убиваешь, за всех, перед всеми!

2

О стыд, ты в тягость мне! О совесть, в этом раннем
Разрыве столько грез, настойчивых еще!
Когда бы, человек, – я был пустым собраньем
Висков и губ и глаз, ладоней, плеч и щек!
Тогда б по свисту строф, по крику их, по знаку,
По крепости тоски, по юности ее

Я б уступил им всем, я б их повел в атаку,
Я б штурмовал тебя, позорище мое!

3

От тебя все мысли отвлеку
Не в гостях, не за вином, так на#769; небе.
У хозяев, рядом, по звонку
Отопрут кому-нибудь когда-нибудь.

Вырвусь к ним, к бряцанью декабря.
Только дверь – и вот я! Коридор один.
«Вы оттуда? Что там говорят?
Что слышать? Какие сплетни в городе?»

Ошибается ль еще тоска?
Шепчет ли потом: «Казалось – вылитая».
Приготовься футов с сорока
Разлететься восклицаньем: «Вы ли это?»

Пощадят ли площади меня?
Ах, когда б вы знали, как тоскуется,
Когда вас раз сто в течение дня
На ходу на сходствах ловит улица!»

4

Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потушить
Этот приступ печали, гремящей сегодня, как ртуть в пустоте
Торичелли.
Воспрети, помешательство, мне, – о, приди, посягни!
Помешай мне шуметь о тебе! Не стыдись, мы – одни.
О, туши ж, о туши! Горяче#769;е!

5

Заплети этот ливень, как волны, холодных локтей
И, как лилии, атласных и властных бессильем ладоней!
Отбивай, ликование! На волю! Лови их, – ведь в бешеной этой
лапте –
Голошенье лесов, захлебнувшихся эхом охот в Калидоне,
Где, как лань, обеспамятев, гнал Аталанту к поляне Актей,
Где любили бездонной лазурью, свистевшей в ушах лошадей,
Целовались залиvistым лаем погони
И ласкались раскатами рога и треском деревьев, копыт и когтей.
– О, на волю! На волю – как те!

6

Разочаровалась? Ты думала – в мире нам
Расстаться за реквиемом лебединым?
В расчете на горе, зрачками расширенными

В слезах, примеряла их непобедимость?

На мессе б со сводов посыпалась стенопись,
Потрясись игрой на губах Себастьяна.
Но с нынешней ночи во всем моя ненависть
Растянутасть видит, и жаль, что хлыста нет.

Впотьмах, моментально опомнясь, без ме́длящего
Раздумья, решила, что все перепашет.
Что – время. Что самоубийство ей не́ для чего,
Что даже и это есть шаг черепаший.

7

Мой друг, мой нежный, о, точь-в-точь, как ночью,
в перелете с Бергена на полюс,
Валящим снегом с ног гагар сносимый жаркий пух,
Клянусь, о нежный мой, клянусь, я не неволюсь,
Когда я говорю тебе – забудь, усни, мой друг.

Когда, как труп затертого до самых труб норвежца,
В виденьи зим, не движущих заиндевелых мачт,
Ношусь в сполохах глаз твоих шутивым – спи, утешься,
До свадьбы заживет, мой друг, угомонись, не плачь.

Когда, совсем как север вне последних поселений,
Украдкой от арктических и неусыпных льдин,
Полночным куполом полощущий глаза слепых тюленей,
Я говорю – не три их, спи, забудь: всё вздор один.

8

Мой стол не столь широк, чтоб грудью всею
Налечь на борт, и локоть завести
За край тоски, за этот перешеек
Сквозь столько верст прорытого прости.

(Сейчас там ночь.) За душный свой затылок.
(И спать легли.) Под царства плеч твоих.
(И тушат свет.) Я б утром возвратил их.
Крыльцо б коснулось сонной ветвью их.

Не хлопьями! Руками крой! – Достанет!
О, десять пальцев муки, с бороздой
Крещенских звезд, как знаков опозданья
В пургу на север шедших поездов!

9

Рояль дрожащий пену с губ оближет.
Тебя сорвет, подкосит этот бред.
Ты скажешь: – Милый! – Нет, – вскричу я, – нет.

При музыке?! – Но можно ли быть ближе,

Чем в полутьме, аккорды, как дневник,
Меча в камин комплектами, pogodно?
О пониманье дивное, кивни,
Кивни, и изумишься! – ты свободна.

Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер,
А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно – что жилы отворить.

1919

Яих мог позабыть

1.Клеветникам

О детство! Ковш душевной глуби!
О всех лесов абориген,
Корнями вросший в самолюбье,
Мой вдохновитель, мой регент!

Что слез по стеклам усыхало!
Что сохло ос и чайных роз!
Как часто угасавший хаос
Багровым папортником рос!

Что вдавленных сухих костяшек,
Помешанных клавиатур,
Бродячих, черных и грустящих,
Готовят месть за клевету!

Правдоподобье бед клеветец,
Соседство богачей,
Хозяйство за дверьми клеветец.
Веселый звон ключей.

Рукопожатье лжи клеветец,
Манишек аромат,
Изящество дареной вещи,
Клеветец хиромант.

Ничтожность возрастов клеветец,
О юные – а нас?
О левые, – а нас, левейших, –
Румянись и юнись?

О солнце, слышишь? «Выручь денег».
Сосна, нам снится? «Напрягись».
О жизнь, нам имя вырождение,

Тебе и смыслу вопреки.

Дункан седых догадок – помощь!
О смута сонмищ в отпусках,
О боже, боже, может, вспомнишь,
Почем нас людям отпускал?

1917

2

Я их мог позабыть? Про родню,
Про моря? Приласкаться к плацкарте?
И за оргию чувств – в западню?
С ураганом – к ордалиям партий?

За окошко, в купе, к погребцу?
Где-то слезть? Что-то снять? Поселиться?
Я горжусь этой мукой. – Рубцуй!
По когтям узнаю тебя, львица.

Про родню, про моря. Про абсурд
Прозябанья, подобного каре.
Так не мстят каторжанам. – Рубцуй!
О, не вы, это я – пролетарий!

Это правда. Я пал. О, секи!
Я упал в самомнении зверя.
Я унизил себя до неверья.
Я унизил тебя до тоски.

1917

3

Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут, – а слова
Являются о третьем годе.

Так начинают понимать.
И в шуме пущенной турбины
Мерещится, что мать – не мать,
Что ты – не ты, что дом – чужбина.

Что делать страшной красоте
Присевшей на скамью сирени,
Когда и впрямь не красть детей?
Так возникают подозренья.

Так зреют страхи. Как он даст
Звезде превысить досяганье,

Когда он – Фауст, когда – фантаст?
Так начинаются цыгане.

Так открываются, паря
Поверх плетней, где быть домам бы,
Внезапные, как вздох, моря.
Так будут начинаться ямбы.

Так ночи летние, ничком
Упав в овсы с мольбой: исполнься,
Грозят заре твоим зрачком.
Так затевают ссоры с солнцем.

Так начинают жить стихом.

1921

4

Нас мало. Нас, может быть, трое
Донецких, горючих и адских
Под серой бегущей корою
Дождей, облаков и солдатских
Советов, стихов и дискуссий
О транспорте и об искусстве.

Мы были людьми. Мы эпохи.
Нас сбило и мчит в караване,
Как тундру под тендера вздохи
И поршней и шпал порыванье.
Слетимся, ворвемся и тронем,
Закружимся вихрем вороньим,

И – мимо! – Вы поздно поймете.
Так, утром ударивши в ворох
Соломы – с момент на намете, –
След ветра живет в разговорах
Идущего бурно собранья
Деревьев над кровельной дранью.

1921

5

Косых картин, летящих ливня
С шоссе, задувшего свечу,
С крюков и стен срываться к рифме
И падать в такт не отучу.

Что в том, что на вселенной – маска?
Что в том, что нет таких широт,
Которым на зиму замазкой

Зажать не вызвались бы рот?

Но вещи рвут с себя личину,
Теряют власть, роняют честь,
Когда у них есть петля причина,
Когда для ливня повод есть.

1922

Нескучный сад

1. Нескучный

Как всякий факт на всяком бланке,
Так все дознанья хороши
О вакханалиях изнанки
Нескучного любой души.

Он тоже – сад. В нем тоже – скучен
Набор уставших цвеств пород.
Он тоже, как и сад, – Нескучен
От набережной до ворот.

И, окуная парк за старой
Беседкою в заглохший пруд,
Похож и он на тень гитары,
С которой, тешась, струны рвут.

1917

2

Достатком, а там и пирами,
И мебелью стиля жакоб
Иссушат, убьют темперамент,
Гудевший, как ветвь жуком.

Он сыплет искры с зубьев,
Когда, сгребя их в ком,
Ты бесов самолюбья
Терзаешь гребешком.

В осанке твоей: «С кой стати?»,
Любовь, а в губах у тебя
Насмешливое: «Оставьте,
Вы хуже малых ребят».

О свежесть, о капля смарагда
В упившихся ливнем кистях,
О сонный начес беспорядка,
О дивный, божий пустяк!

1917

3.Орешник

Орешник тебя отрешает от дня,
И мшистые солнца ложатся с опушки
То решкой на плотное тленье пня,
То мутно-зеленым орлом на лягушку.

Кусты обгоняют тебя, и пока
С родимую чащей сроднишься с отвычки, –
Она уж безбрежна: ряды кругляка,
И роща редее, и птичка – как гичка,
И песня – как пена, и – наперерез,
Лазурь забирая, нырком, душегубкой
И – мимо... И долго безмолвствует лес,
Следя с облаков за пронесшейся шляпкой.

О, место свиданья малины с грозой,
Где, в тучи рогами лишайника тычась,
Горят, одуряя наш мозг молодой,
Лиловые топи угасших язычеств!

1917

4.Влесу

Луга мутило жаром лиловатым,
В лесу клубился кафедральный мрак.
Что оставалось в мире целовать им?
Он весь был их, как воск на пальцах мяк.

Есть сон такой, – не спишь, а только снится,
Что жаждешь сна; что дремлет человек,
Которому сквозь сон палит ресницы
Два черных солнца, бьющих из-под век.

Текли лучи. Текли жуки с отливом,
Стекло стрекоз сновало по щекам.
Был полон лес мерцаньем кропотливым,
Как под щипцами у часовщика.

Казалось, он уснул под стук цифири,
Меж тем как выше, в терпком янтаре,
Испытаннейшие часы в эфире
Переставляют, сверив по жару.

Их переводят, сотрясают иглы
И сеют тень, и мают, и сверлят
Мачтовый мрак, который ввысь воздвигло,
В истому дня, на синий циферблат.

Казалось, древность счастья облетает.
Казалось, лес закатом снов объят.
Счастливые часов не наблюдают,
Но те, вдвоем, казалось, только спят.

1917

5. Спасское

Незабвенный сентябрь осыпается в Спасском.
Не сегодня ли с дачи съезжать вам пора?
За плетнем перекликнулось эхо с подпаском
И в лесу различило удар топора.

Этой ночью за парком знобило трясину.
Только солнце взошло, и опять – наутек.
Колокольчик не пьет костоломных росинок,
На березах несмытый лиловый отек.

Лес хандрит. И ему захотелось на отдых,
Под снега, в непробудную спячку берлог.
Да и то, меж стволов, в почерневших обводах
Парк зияет в столбцах, как сплошной некролог.

Березняк перестал ли линять и пятнаться,
Водянистую сень потуплять и редеть?
Этот – ропщет еще, и опять вам – пятнадцать,
И опять, – о дитя, о, куда нам их деть?

Их так много уже, что не всё ж – куролесить.
Их – что птиц по кустам, что грибов за межой.
Ими свой кругозор уж случалось завесить,
Их туманом случалось застлать и чужой.

В ночь кончины от тифа сгорающий комик
Слышит гул: гомерический хохот райка.
Нынче в Спасском с дороги бревенчатый домик
Видит, галлюцинируя, та же тоска.

1918

6. Да будет

Рассвет расколыхнет свечу,
Зажжет и пустит в цель стрижа.
Напоминанием влечу:
Да будет так же жизнь свежа!

Заря как выстрел в темноту.
Бабах! – и тухнет на лету
Пожар ружейного пыжа.

Да будет так же жизнь свежа.

Еще снаружи – ветерок,
Что ночью жался к нам, дрожа.
Зарей шел дождь, и он продрог.
Да будет так же жизнь свежа.

Он поразительно смешон!
Зачем совался в сторожа?
Он видел – вход не разрешен.
Да будет так же жизнь свежа.

Повелевай, пока на взмах
Платка – пока ты госпожа,
Пока – покамест мы впотьмах,
Покамест не угас пожар.

1919

7. Зимнее утро (Пять стихотворений)

* * *

Воздух седенькими складками падает.
Снег припоминает мельком, мельком:
Спатки – называлось, шепотом и патокою
День позападал за колыбельку.

Выйдешь – и мурашки разбегаются и ежится
Кожица, бывало, – сумки, дети, –
Улица в бесшумные складки ложится
Серой рыболовной сети.

Все, бывало, складывают: сказку о лисице,
Рыбу пошвырявшей с возу,
Дерево, сарай и варежки, и спицы,
Зимний изумленный воздух.

А потом поздней, под чижиком, пред цветиками
Не сложеньем, что ли, с воли,
Дуло и мело, не ей, не арифметикой ли
Подирало столик в школе?

Зуб, бывало, ноет: мажут его, лечат его, –
В докторском глазу ж – безумье
Сумок и снежков, линованное, клетчатое
С сонными каракулями в сумме.

Та же нынче сказка, зимняя, мурлыкина,
На бегу шурша метелью по газете,

За барашек грив и тротуаров выкинулась
Серой рыболовной сетью.

Ватная, примерзлая и байковая, фортковая
Та же жуть берез безгнездых
Гарусную ночь чем свет за чаем свертывает
Зимний изумленный воздух.

1918

* * *

Как не в своем рассудке,
Как дети ослушанья,
Облизываясь, сутки
Шутя мы осушали.

Иной, не отрываясь
От судорог страницы
До утренних трамваев,
Грозил заре допить.

Раскидывая хлопко
Снежок, бывало, чижик
Шумит: какую пробкой
Такую рожу выжиг?

И день вставал, оплеснясь,
В помойной жаркой яме,
В кругах пожарных лестниц,
Ушибленный дровами.

1919

* * *

Я не знаю, что тошней:
Рушащийся лист с конюшни
Или то, что все в кашне,
Всё в снегу, и всё в минувшем.

Что, пентюх, головотяп,
Там меж листьев, меж домов там
Машет галкою октябрь
По каракулевым кофтам.

Треск ветвей – ни дать ни взять
Сушек с запахом рогожи.
Не растряс бы вихрь – связать,
Упадут, стуча, похоже.

Упадут в морозный прах,

Ах, похоже, спозаранок
Вихрь беретса трясть впотьмах
Тминной вязкою баранок.

1919

* * *

Ну, и надо ж было, тужась,
Каркнуть и взлететь в хаос,
Чтоб сложить октябрьский ужас
Парой крыльев на киоск.

И поднять содом со шпилей
Над живой рекой голов,
Где и ты, вуаль зашпилив,
Шляпку шпилькой заколов,

Где и ты, моя забота,
Котик лайкой застегнув,
Темной рысью в серых ботах
Машешь муфтой в море муфт.

1919

* * *

Между прочим, все вы, чтицы,
Лгать охотницы, а лгать –
У оконницы учиться,
Вот и вся вам недолга.

Тоже блещет, как баллада,
Дивной влагой; тоже льет
Слезы; тоже мечет взгляды
Мимо, – словом, тот же лед.

Тоже, вне правдоподобья,
Ширит, рвет ее зрачок,
Птичью церковь на сугробе,
Отдаленный конский чок.

И Чайковский на афише
Патетично, как и вас,
Может потрясти, и к крыше,
В вихорь театральных касс.

1919

8.Весна
(Пять стихотворений)

* * *

Весна, я с улицы, где тополь удивлен,
Где даль пугается, где дом упасть боится,
Где воздух синь, как узелок с бельем
У выписавшегося из больницы.

Где вечер пуст, как прерванный рассказ,
Оставленный звездой без продолженья
К недоумению тысяч шумных глаз,
Бездонных и лишенных выраженья.

1918

* * *

Пара форточных петелек,
Февраля отголоски.
Пить, пока не заметили,
Пить вискам и прическе!

Гул ворвался, как шомпол.
О, холодный, сначала бы!
Бурный друг мой, о чем бы?
Воздух воли и – жалобы?!

Что за смысл в этом пойле?
Боже, кем это мелются,
Языком ли, душой ли,
Этот плеск, эти прелести?

Кто ты, март? – Закипал же
Даже лед, и обуглятся,
Раскатясь, экипажи
По свихнувшейся улице!

Научи, как ворочать
Языком, чтоб растрогались,
Как тобой, этой ночью
Эти дрожки и щеголи.

1919

* * *

Воздух дождиком частым сечется.
Поседев, шелудивеет лед.
Ждешь: вот-вот горизонт и очнется
И – начнется. И гул пойдет.

Как всегда, расстегнув нараспашку
Пальтецо и кашне на груди,

Пред собой он погонит неспавших,
Очумелых птиц впереди.

Он зайдет к тебе и, развинчен,
Станет свечный натек колупать,
И зевнет и припомнит, что нынче
Можно снять с гиацинтов колпак.

И шальной, шевелюру ероша,
В замешательстве смысл темня,
Ошарашит тебя нехорошей
Глупой сказкой своей про меня.

1918

* * *

Закрой глаза. В наиглушайшем органе
На тридцать верст забывшихся пространств
Стоят в парах и каплют храп и хорканье,
Смех, лепет, плач, беспаятство и транс.

Им, как и мне, невмочь с весною свыкнуться,
Не в первый раз стараюсь, – не привык.
Сейчас по чащам мне и этим мыканцам
Подносит чашу дыма паровик.

Давно ль под сенью орденских капитулов,
Служивших в полном облаченьи хвой,
Мирянин-март украдкою пропитывал
Тропинки парка терпкой синевой?

Его грехи на мне под старость скажутся,
Бродивших верб откупоривши штоф,
Он уходил с утра под прутья саженцев,
В пруды с угаром тонущих кустов.

В вечерний час переставала двигаться
Жемчужных луж и речек акварель,
И у дверей показывались выходцы
Из первых игр и первых букварей.

1921

* * *

Чирикали птицы и были искренни.
Сияло солнце на лаке карет.
С точильного камня не сыпались искры,
А сыпались – гасли, в лучах сгорев.
В раскрытые окна на их рукоделье
Садилась, как голуби, облака.

Они замечали: с воды похудели
Заборы – заметно, кресты – слегка.

Чирикали птицы. Из школы на улицу,
На тумбы ложилось, хлынув волной,
Немолчное пенье и щелканье шпуплек,
Мелькали косички и цокал челнок.

Не сыпались искры, а сыпались – гасли.
Был день расточителен; над школой свежей
Неслись облака, и точильщик был счастлив,
Что столько на свете у женщин ножей.

1922

**9. Сон влетнюю ночь
(Пять стихотворений)**

* * *

Крупный разговор. Еще не заперали,
Вдруг как: моментально вон отсюда! –
Сбитая прическа, туча препирательств,
И сплошной поток шопеновских этюдов.

Вряд ли, гений, ты распределяешь кету
В белом доме против кооператива,
Что хвосты луны стоят до края света
Чередой ночных садов без перерыва.

1918

* * *

Все утро с девяти до двух
Из сада шел томящий дух
Озона, змей и розмарина,
И олеандры разморило.

Синеет белый мезонин.
На мызе – сон, кругом – безлюдье.
Седой малинник, а за ним
Лиловый грунт его прелюдий.

Кому ужонок прошипел?
Кому прощально машет розан?
Опять депешею Шопен
К балладе страждущей отозван.

Когда ее не излечить,
Все лето будет в дифтерите.
Сейчас ли, черные ключи,
Иль позже кровь нам отворить ей?

Прикосновение руки –
И полвселенной – в изоляции,
И там плантации пылятся
И душно дышат табаки.

1918

* * *

Пианисту понятно шнырянье ветошниц
С косыми крюками обвалов в плечах.
Одно прозябанье корзины и крошни
И крышки раскрытых роялей влачат.

По стройкам таскавшись с толпою тряпичниц
И клад этот где-то на свалках сыскав,
Он вешает облако бури кирпичной,
Как робу на вешалку на лето в шкаф.

И тянется, как за походною флягой,
Военную карту грозы расстелив,
К роялю, обычно обильному влагой
Огромного душного лета столиц.

Когда, подоспевши совсем незаметно,
Сгорая от жажды, гроза четырьмя
Прыжками бросается к бочкам с цементом,
Дрожащими лапами ливня гремя.

1921

* * *

Я вишу на пере у творца
Крупной каплей лилового лоска.

Под домами – загадки канав.
Шибко воздух ли соткой и коксом
По вокзалам дышал и зажегся,
Но, едва лишь зарю доконав,
Снова розова ночь, как она,
И забор поражен парадоксом.

И бормочет: прерви до утра
Этих сохлых белил колебанье.
Грунт убит и червив до нутра,
Эхо чутко, как шар в кегельбане.

Вешний ветер, шевьот и грязца,
И гвоздильных застав отголоски,
И на утренней терке торца

От зари, как от хренной полоски,
Проступают отчетливо слезки.

Я креплюсь на пере у творца
Терпкой каплей густого свинца.

1922

* * *

Пей и пиши, непрерывным патрулем
Ламп керосиновых подкарауленный
С улиц, гуляющих под руку в июле
С кружкой пива, тобою пригубленной.

Зеленоглазая жажда гигантов!
Тополь столы осыпает пикулями,
Шпанкой, шиповником – тише, не гамте! –
Шепчут и шепчут пивца загогулины.

Бурная кружка с трехгорным Рембрандтом!
Спертость предгрозя тебя не испортила.
Ночью быть буре. Виденья, обратно!
Память, труби отступление к портерной!

Век мой безумный, когда образумлю
Темп потемнелый былого бездонного?
Глуби Мазурских озер не разуют
В сон погруженных горнистов Самсонова.

После в Москве мотоцикл тараторил,
Громкий до звезд, как второе пришествие.
Это был мор. Это был мораторий
Страшных судов, не съезжавшихся к сессии.

1922

10. Поэзия

Поэзия, я буду клясться
Тобой и кончу, прохрипев:
Ты не осанка сладкогласца,
Ты – лето с местом в третьем классе,
Ты – пригород, а не припев.

Ты – душная, как май, Ямская,
Шевардина ночной редут,
Где тучи стоны испускают
И врозь по роспуске идут.

И, в рельсовом витье двояся, –
Предместье, а не перепев –

Ползут с вокзалов восвояси
Не с песней, а оторопев.

Отростки ливня грязнут в гроздьях
И долго, долго, до зари
Кропают с кровель свой акростих,
Пуская в рифму пузыри.

Поэзия, когда под краном
Пустой, как цинк ведра, трюизм,
То и тогда струя сохранна,
Тетрадь подставлена – струись!

1922

11. Два письма

* * *

Любимая, безотлагательно,
Не дав заре с пути рассесться,
Ответь чем свет с его подателем
О ходе твоего процесса.

И, если это только мыслимо,
Поторопи зарю, а лень ей, –
Воспользуйся при этом высланным
Курьером умоисступленья.

Дождь, верно, первым выйдет из лесу
И выпросит, где тор, где топко.
Другой ему вдогонку вызвался
И это – под его диктовку.

Наверно, бурю безрассудств его
Сдадут деревья в руки из рук,
Моя ж рука давно отсутствует:
Под ней жилой кирпичный призрак.

Я не бывал на тех урочищах,
Она ж ведет себя, как прадед,
И, знаменьем сложась пророчащим,
Тот дом по голой кровле гладит.

1921

* * *

На днях, в тот миг, как в ворох корпии
Был дом под Костромой искромсан,
Удар того же грома копию

Мне свел с каких-то незнакомцев.

Он свел ее с их губ, с их лацканов,
С их туловищ и туалетов,
В их лицах было что-то адское,
Их цвет был светло-фиолетов.

Он свел ее с их губ и лацканов,
С их блюдец и физиономий,
Но, сделав их на миг мулатскими,
Не сделал ни на миг знакомей.

В ту ночь я жил в Москве и в частности
Не ждал известий от бесценной,
Когда порыв зарниц негаснущих
Прибил к стене мне эту сцену.

1921

12. Осень (Пять стихотворений)

* * *

С тех дней стал над недрами парка сдвигаться
Суровый, листву леденивший октябрь.
Зарями ковался конец навигации,
Спирало гортань и ломило в локтях.

Не стало туманов. Забыли про пасмурность.
Часами смеркалось. Сквозь все вечера
Открылся, в жару, в лихорадке и насморке,
Больной горизонт – и дворы озирали.

И стынула кровь. Но, казалось, не стынут
Пруды, и – казалось – с последних погод
Не движутся дни, и, казалось – вынут
Из мира прозрачный, как звук, небосвод.

И стало видать так далёко, так трудно
Дышать, и так больно глядеть, и такой
Покой разлился, и настолько безлюдный,
Настолько беспмятно звонкий покой!

1916

* * *

Потели стекла двери на балкон.
Их заслонял заметно зимний фикус.
Сиял графин. С недопитым глотком
Вставали вы, веселая навывказ, –

Смеркалась даль, – спокойная на вид, –
И дуло в щели, – праведница ликом, –
И день сгорал, давно остановив
Часы и кровь, в мучительно великом

Просторе долго, без конца горев
На остриях скворешниц и дерев,
В осколках тонких ледяных пластинок,
По пустырям и на ковре в гостинной.

1916

* * *

Но и им суждено было выцвести,
И на лете – налет фиолетовый,
И у туч, громогласных до этого, –
Фистула и надтреснутый присвист.

Облака над заплаканным флоксом,
Обволакивав даль, перетрафили.
Цветники как холодные кафли.
Город кашляет школой и коксом.

Редко брызжет восток бирюзью.
Парников изразцы, словно в заморозки,
Застывают, и ясен, как мрамор,
Воздух роц и, как зов, беспризорен.

Я скажу до свиданья стихам, моя мания,
Я назначил вам встречу со мною в романе.
Как всегда, далеки от пародий,
Мы окажемся рядом в природе.

1917

* * *

Весна была просто тобой,
И лето – с грехом пополам.
Но осень, но этот позор голубой
Обоев, и войлок, и хлам!

Разбитую клячу ведут на махан,
И ноздри с коротким дыханьем
Заслушались мокрой ромашки и мха,
А то и конины в духане.

В прозрачность заплаканных дней целиком
Губами и глаз полыханьем
Впиваешься, как в помутнелый флакон
С невыдохшимися духами.

Не спорить, а спать. Не оспаривать,
А спать. Не распаивать наспех
Окна, где в беспмятных заревах
Июль, разгораясь, как яспис,
Расплавливал стекла и спаривал
Тех самых пунцовых стрекоз,
Которые нынче на брачных
Брусах – мертвей и прозрачней
Осыпавшихся папирос.

Как в сумерки сонно и зябко
Окошко! Сухой купорос.
На донышке склянки – козявка
И гильзы задохшихся ос.

Как с севера дует! Как щупло
Нахохлилась стужа! О вихрь,
Общупай все глубины и дупла,
Найди мою песню в живых!

1917

* * *

Здесь прошелся загадки таинственный ноготь.
– Поздно, выплюсь, чем свет перечту и пойму.
А пока не разбудят, любимую трогать
Так, как мне, не дано никому.

Как я трогал тебя! Даже губ моих медью
Трогал так, как трагедией трогают зал.
Поцелуй был как лето. Он медлил и медлил,
Лишь потом раздражалась гроза.

Пил, как птицы. Тянул до потери сознания.
Звезды долго горлом текут в пищевод,
Соловьи же заводят глаза с содроганьем,
Осушая по капле ночной небосвод.

1918

Стихи разных лет

Смешанные стихи ворения

Борису Пильняку

Иль я не знаю, что, в потемки тычась,

Вовек не вышла б к свету темнота,
И я – урод, и счастье сотен тысяч
Не ближе мне пустого счастья ста?

И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не поднимаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней?

Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.

1931

Анне Ахматовой

Мне кажется, я подберу слова,
Похожие на вашу первозданность.
А ошибусь, – мне это трын-трава,
Я все равно с ошибкой не расстанусь.

Я слышу мокрых кровель говорок,
Торцовых плит заглохшие эклоги.
Какой-то город, явный с первых строк,
Растет и отдается в каждом слоге.

Кругом весна, но за город нельзя.
Еще строга заказчица скупая.
Глаза шитьем за лампою слезя,
Горит заря, спины не разгибая.

Вдыхая дали ладожскую гладь,
Спешит к воде, смиряя сил упадок.
С таких гулянок ничего не взять.
Каналы пахнут затхлостью укладок.

По ним ныряет, как пустой орех,
Горячий ветер и кольшет веки
Ветвей, и звезд, и фонарей, и вех,
И с моста вдаль глядящей белошвейки.

Бывает глаз по-разному остер,
По-разному бывает образ точен.
Но самой страшной крепости раствор –
Ночная даль под взглядом белой ночи.

Таким я вижу облик ваш и взгляд.
Он мне внушен не тем столбом из соли,
Которым вы пять лет тому назад

Испуг оглядки к рифме прикололи,

Но, исходив от ваших первых книг,
Где крепи прозы пристальной крупницы,
Он и во всех, как искры проводник,
Событья былью заставляет биться.

М(арине) Ц(ветаевой)

Ты вправе, вывернув карман,
Сказать: ищите, ройтесь, шарьте.
Мне все равно, чем сыр туман.
Любая быль – как утро в марте.

Деревья в мягких армяках
Стоят в грунту из гуммигута,
Хотя ветвям наверняка
Невмоготу среди закута.

Роса бросает ветки в дрожь,
Струясь, как шерсть на мериносе.
Роса бежит, тряся, как еж,
Сухой копной у переносья.

Мне всё равно, чей разговор
Ловлю, плывущий ниоткуда.
Любая быль – как вешний двор,
Когда он дымкою окутан.

Мне всё равно, какой фасон
Сужден при мне покрою платьев.
Любую быль сметут, как сон,
Поэта в ней законопатив.

Клубясь во много рукавов,
Он двинется, подобно дыму,
Из дыр эпохи роковой
В иной тупик непроходимый.

Он вырвется, курясь, из прорв
Судеб, расплющенных в лепеху,
И внуки скажут, как про торф:
Горит такого-то эпоха.

1929

Мейерхольдам

Желоба коридоров иссякли.

Гул отхлынул и сплыл, и заглох.
У окна, опоздавши к спектаклю,
Вяжет вьюга из хлопьев чулок.

Рытым ходом за сценой залягте,
И, обуглясь у всех на виду,
Как дурак, я зайду к вам в антракте,
И смешаюсь, и слов не найду.

Я увижу деревья и крыши.
Вихрем кинутся мушки во тьму.
По замашкам зимы-замухрышки
Я игру в кошки-мышки пойму.

Я скажу, что от этих ужимок
Еле цел я остался внизу,
Что пакет развязался и вымок,
И что я вам другой привезу.

Что от чувств на земле нет отбою,
Что в руках моих – плеск из фойе,
Что из этих признаний – любое
Вам обоим, а лучшее – ей.

Я люблю ваш нескладный развалец,
Жадной проседи взбитую прядь.
Если даже вы в это выигрались,
Ваша правда, так надо играть.

Так играл пред землей молодую
Одаренный один режиссер,
Что носился как дух над водою
И ребро сокрушенное тер.

И, протискавшись в мир из-за дисков
Наобум размещенных светил,
За дрожащую руку артистку
На дебют роковой выводил.

Той же пьесою неповторимой,
Точно запахом краски, дыша,
Вы всего себя стерли для грима.
Имя этому гриму – душа.

1928

Пространство

Н. Н. Вильям-Вильмонт

К ногам прилипает наждак.

Долбеж понемногу стихает.
Над стежками капли дождя,
Как птицы, в ветвях отдыхают.

Чернеют сережки берез.
Лозняк отливает изнанкой.
Ненастье, дымясь, как обоз,
Задерживается по знаку,

И месит шоссейный кисель,
Готовое снова по взмаху
Рвануться, осев до осей
Свинцового всей колымагой.

Недолго приходится ждать.
Движенье нахмуренной выси, –
И дождь, затяжной, как нужда,
Вывешивает свой бисер.

Как к месту тогда по таким
Подушкам колеи непроезжих
Пятнистые пятаки
Лиловых, как лес, сыроежек!

И заступ скрежещет в песке,
И не попадает зуб на зуб,
И знаясь не хочет ни с кем
Железнодорожная насыпь.

Уж сорок без малого лет
Она у меня на примете,
И тянется рельсовый след
В тоске о стекле и цементе.

Во вторник молебен и акт.
Но только ль о том их тревога?
Не ради того и не так
По шпалам проводят дорогу.

Зачем же водой и огнем
С откоса хлещет переезды,
Упорное, ночью и днем
Несется на север железо?

Там город, – и где перечесть
Московского съезда соблазны,
Ненастий горящую шерсть,
Заманчивость мглы непролазной?

Там город, – и ты посмотри,
Как ночью горит он багрово.
Он былью одной изнутри,

Как плоскою, иллюминирован.

Он каменным чудом облег
Рожденья стучащий подарок.
В него, как в картонный кремлек,
Случайности вставлен огарок.

Он с гор разбросал фонари,
Чтоб капать, и теплить, и плавить
Историю, как стеарин
Какой-то свечи без заглавья.

1927

Бальзак

Париж в золотых тельцах, в дельцах,
В дождях, как мщенье, долгожданных.
По улицам летит пыльца.
Разгневанно цветут каштаны.

Жара покрыла лошадей
И щелканье бичей глазурию
И, как горох на решете,
Дрожит в оконной амбразуре.

Беспечно мчатся тильбюри.
Своя довлеет злоба дневи.
До завтрашней ли им зари?
Разгневанно цветут деревья.

А их заложник и должник,
Куда он скрылся? Ах, алхимик!
Он, как над книгами, поник
Над переулками глухими.

Почти как тополь, лопоух,
Он смотрит вниз, как в заповедник,
И ткет Парижу, как паук,
Зауспокойную обедню.

Его бессонные зенки
Устроены, как веретена.
Он вьет, как нитку из пеньки,
Историю сего притона.

Чтоб выкупиться из ярма
Ужасного заимодавца,
Он должен сгнуться задарма
И дать всей нитке размотаться.

Зачем же было брать в кредит
Париж с его толпой и биржей,
И поле, и в тени раки
Непринужденность сельских пиршеств?

Он грезит волей, как лакей,
Как пенсией – старик бухгалтер,
А весу в этом кулаке
Что в каменщиковой кувалде.

Когда, когда ж, утерши пот
И сушь кофейную отвеяв,
Он оградится от забот
Шестой главою от Матфея?

1927

Бабочка– буря

Бывалый гул былой Мясницкой
Вращаться стал в моем кругу,
И, как вы на него ни цыцкай,
Он пальцем вам – и ни гугу.

Он снится мне за массой действий,
В рядах до крыш горящих сумм,
Он сыплет лестницы, как в детстве,
И подымает страшный шум.

Напрасно в сковороды били,
И огорчалась кочерга.
Питается пальбой и пылью
Окуклившийся ураган.

Как призрак порчи и починки,
Объевший веточки мечтам,
Асфальта алчного личинкой
Смолу котлами пьет почтаamt.

Но за разгромом и ремонтом,
К испугу сомкнутых окон,
Червяк спокойно и дремотно
По закоулкам ткет кокон.

Тогда-то, сбившись с перспективы,
Мрачатся улиц выхода,
И бритве ветра тучи гриву
Подбрасывает духота.

Сейчас ты выпорхнешь, инфанта,
И, сев на телеграфный столб,

Расправишь водяные банты
Над топотом промокших толп.

1923

Отплытие

Слышен лепет соли каплющей.
Гул колес едва показан.
Тихо взявши гавань за плечи,
Мы отходим за пакгаузы.

Плеск и плеск, и плеск без отзыва.
Разбегаясь со стенаньем,
Вспыхивает бледно-розовая
Моря ширь берестяная.

Треск и хруст скелетов раковых,
И шипит, горя, берёста.
Ширь растёт, и море вздрагивает
От ее прироста.

Берега уходят ельничком, –
Он невзрачен и тщедушен.
Море, сумрачно бездельничая,
Смотрит сверху на идущих.

С моря еще по морошку
Ходит и ходит лесками,
Грохнув и борт огороша,
Ширящееся плесканье.

Виден еще, еще виден
Берег, еще не без пятен
Путь, – но уже необыден
И, как беда, необъятен.

Страшным полуборотом,
Сразу менясь во взоре,
Мачты въезжают в ворота
Настежь открытого моря.

Вот оно! И, в предвкушеньи
Сладко бушующих новшеств,
Камнем в пучину крушений
Падает чайка, как ковшик.

1922

Финский залив

«Рослый стрелок, осторожный охотник...»

Рослый стрелок, осторожный охотник,
Призрак с ружьем на разливе души!
Не добирай меня сотым до сотни,
Чувству на корм по частям не кроши.

Дай мне подняться над смертью позорной.
С ночи одень меня в тальник и лед.
Утром спугни с мочажины озерной.
Целься, все кончено! Бей меня влёт.

За высоту ж этой звонкой разлуки,
О, пренебрегнутые мои,
Благодарю и целую вас, руки
Родины, робости, дружбы, семьи.

1928

Петухи

Всю ночь вода трудилась без отдышки.
Дождь до утра льняное масло жег.
И валит пар из-под лиловой крышки,
Земля дымится, словно щей горшок.

Когда ж трава, отряхиваясь, вскочит,
Кто мой испуг изобразит росе
В тот час, как загорланит первый кочет,
За ним другой, еще за этим – все?

Перебирая годы поименно,
Поочередно окликаая тьму,
Они пророчить станут перемену
Дождю, земле, любви – всему, всему.

Ландыши

С утра жара. Но отведи
Кусты, и грузный полдень разом
Всей массой хряснет позади,
Обламываясь под алмазом.

Он рухнет в ребрах и лучах,
В разгранке зайчиков дрожащих,
Как наземь с потного плеча
Опущенный стекольный ящик.

Укрывшись ночью навесно#769;й,
Здесь белизна сурьмится углем.

Непревзойденной новизной
Весна здесь сказочна, как Углич.

Жары нещадная резня
Сюда не сунется с опушки.
И вот тыходишь в березняк,
Вы всматриваетесь друг в дружку.

Но ты уже предупрежден.
Вас кто-то наблюдает снизу:
Сырой овраг сухим дождем
Росистых ландышей унизан.

Он отделился и привстал,
Кистями капелек повисши,
На палец, на два от листа,
На полтора – от корневища.

Шурша неслышно, как парча,
Льнут лайкою его початки,
Весь сумрак рощи сообща
Их разбирает на перчатки.

1927

Сирень

Положим, – гудение улья,
И сад утопает в стряпне,
И спинки соломенных стульев,
И черные зерна слепней.

И вдруг объявляется отдых,
И всюду бросают дела:
Далекая молодость в сотах,
Седая сирень расцвела!

Уж где-то телеги и лето,
И гром отмыкает кусты,
И ливень въезжает в кассеты
Отстроившейся красоты.

И чуть наполняет повозка
Раскатистым воздухом свод, –
Лиловое зданье из воска,
До облака вставши, плывет.

И тучи играют в горелки,
И слышится старшего речь,
Что надо сирени в тарелке
Путем отстояться и стечь.

1927

Любка

В. В. Гольцеву

Недавно этой просекой лесной
Прошелся дождь, как землемер и метчик.
Лист ландыша отяжелен блесной,
Вода забила в уши царских свечек.

Взлелеяны холодным сосняком,
Они росой оттягивают мочки,
Не любят дня, растут особняком
И даже запах льют поодиночке.

Когда на дачах пьют вечерний чай,
Туман вздувает паруса комарьи,
И ночь, гитарой брякнув невзначай,
Молочной мглой стоит в иван-да-марье,

Тогда ночной фиалкой пахнет всё:
Лета и лица. Мысли. Каждый случай,
Который в прошлом может быть спасен
И в будущем из рук судьбы получен.

1927

Брюсову

Я поздравляю вас, как я отца
Поздравил бы при той же обстановке.
Жаль, что в Большом театре под сердца
Не станут стлать, как под ноги, циновки.

Жаль, что на свете принято скрести
У входа в жизнь одни подошвы; жалко,
Что прошлое смеется и грустит,
А злоба дня размахивает палкой.

Вас чествуют. Чуть-чуть страшит обряд,
Где вас, как вещь, со всех сторон покажут
И золото судьбы посеребрят,
И, может, серебрит в ответ обяжут.

Что мне сказать? Что Брюсова горька
Широко разбежавшаяся участь?
Что ум черствеет в царстве дурака?
Что не безделка – улыбаться, мучась?

Что сонному гражданскому стиху
Вы первый настежь в город дверь открыли?
Что ветер смел с гражданства шелуху
И мы на перья разодрали крылья?

Что вы дисциплинировали взмах
Взбешенных рифм, тянувшихся за глиной,
И были домовым у нас в домах
И дьяволом недетской дисциплины?

Что я затем, быть может, не умру,
Что, до смерти теперь устав от гили,
Вы сами, было время, поутру
Линейкой нас не умирать учили?

Ломиться в двери пошлых аксиом,
Где лгут слова и красноречье храмлет?..
О! весь Шекспир, быть может, только в том,
Что запросто болтает с тенью Гамлет.

Так запросто же! Дни рожденья есть.
Скажи мне, тень, что ты к нему желала б?
Так легче жить. А то почти не снести
Пережитого слышащихся жалоб.

1923

Памяти Рейснер

Лариса, вот когда посожалею,
Что я не смерть и ноль в сравненьи с ней.
Я б разузнал, чем держится без клею
Живая повесть на обрывках дней.

Как я присматривался к матерьялам!
Валились зимы кучей, шли дожди,
Запахивались вьюги одеялом
С грудными городами на груди.

Мелькали пешеходы в непогоду,
Ползли возы за первый поворот,
Года по горло погружались в воду,
Потоки новых запружали брод.

А в перегонном кубе всё упрямей
Варилась жизнь, и шла постройка гнезд.
Работы оцепляли фонарями
При свете слова, разума и звезд.

Осмотришься, какой из нас не свалян
Из хлопьев и из недомолвок мглы?

Нас воспитала красота развалин,
Лишь ты превыше всякой похвалы.

Лишь ты, на славу сбитая боями,
Вся сжатым залпом прелести рвалась.
Не ведай жизнь, что значит обаянье,
Ты ей прямой ответ не в бровь, а в глаз.

Ты точно бурей грации дымилась.
Чуть побывав в ее живом огне,
Посредственность впадала вмиг в немилость,
Несовершенство навлекало гнев.

Бреди же в глубь преданья, героиня.
Нет, этот путь не утомит ступни.
Ширяй, как высь, над мыслями моими:
Им хорошо в твоей большой тени.

1926

Приближенье грозы

Я. З. Черняку

Ты близко. Ты идешь пешком
Из города и тем же шагом
Займешь обрыв, взмахнешь мешком
И гром прокаташь по оврагам.

Как допетровское ядро,
Он лугом пустится вприпрыжку
И раскидает груды дров
Слетевшей на сторону крышкой.

Тогда тоска, как оккупант,
Оцепит даль. Пахнёт окопом.
Закаплет. Ласточки вскипят.
Всей купой в сумрак вступит тополь.

Слух пронесется по верхам,
Что, сколько помнят, ты – до шведа.
И холод въедет в арьергард,
Скача с передовых разведок.

Как вдруг, очистивши обрыв,
Ты с поля повернешь, раздумав,
И сгинешь, так и не открыв
Разгадки шлемов и костюмов.

А завтра я, нырнув в росу,
Ногой наткнушь на шар гранаты

И повесть в комнату внесу,
Как в оружейную палату.

1927

Эпические мотивы

Жене

Город

Уже за#769; версту,
В капиллярах ненастья и вереска,
Густ и солон тобою туман.
Ты горишь, как лиман,
Обжигая пространства, как пересыпь,
Огневой солончак
Растекающихся по стеклу
Фонарей, – каланча,
Пронизавшая заревом мглу!

Навстречу курьерскому, от города, как от моря,
По воздуху мчатся огромные рощи.
Это галки, кресты и сады, и подворья
В перелетном клину пустырей.
Всё скорей и скорей вдоль вагонных дверей,
И – за поезд
Во весь карьер.

Это вещие ветки,
Божась чердаками,
Вылетают на тучу.

Это черной божбою
Бьется пригород Тьмутараканью в падучей.
Это Люберцы или Любань. Это гам
Шпор и блюдец, и тамбурных дворец, и рам
О чугунный перрон. Это сонный разброд
Бутербродов с цикорной бурдой и ботфорт.
Это смена бригад по утрам. Это спор
Забывтья с голосами колес и рессор.
Это грохот утрат о возврат. Это звон
Перецепок у цели о весь перегон.

Ветер треплет ненастья наряд и вуаль.
Даль скользит со словами: навряд и едва ль –
От распросов кустов, полустанков и птах,
И лопат, и крестьянок в лаптях на путях.
Воедино собираются дни сентября.
В эти дни они в сборе. Печальный обряд.

Обирают убранство. Дарят, обрыдав.
Это всех, обреченных земле, доброта.

Это горсть повестей, скопидомкой-судьбой
Занесенная в поздний прибой и отбой
Подмосковных платформ. Это доски мостков
Под кленовым листом. Это шелковый скоп
Шелестящих красот и крылатых семян
Для засева прудов. Всюду рябь и туман.
Всюду скарб на возах. Всюду дождь. Всюду скорбь.
Это – наш городской гороскоп.

Уносятся шпалы, рыдая.
Листвой оглушенною свист замутив,
Скользит, задевая парами за ивы,
Захлебывающийся локомотив.

Считайте места. Пора. Пора.
Окрестности взяты на буфера.
Окно в слезах. Огни. Глаза.
Народу! Народу! Сопят тормоза.

Где-то с шумом падает вода.
Как в платок боготворимой, где-то
Дышат ночью тучи, провода,
Дышат зданья, дышит гром и лето.

Где-то с шумом падает вода.
Где-то, где-то, раздувая ноздри,
Скачут случай, тайна и беда,
За собой погоню заподозрив.

Где-то ночь, весь ливень расстроив,
На двоих наскакивает в чайной.
Где же третья? А из них троих
Больше всех она гналась за тайной.

Громом дрожек, с аркады вокзала,
На краю заповедных роц,
Ты развернут, роман небывалый,
Сочиненный осенью, в дождь.

Фонарями, – и сказ свой ширишь
О страдалице бельэтажей,
О любви и о жертве, сиречь,
О рассроченном платеже.

Что сравнится с женскою силой?
Как она безумно смела!
Мир, как дом, сняла, заселила,
Корабли за собой сожгла.

Я опасаюсь, небеса,
Как их, ведут меня к тем самым
Жилым и скользким корпусам,
Где стены – с тенью Мопассана.

Где за болтами жив Бальзак,
Где стали предсказаньем шкапа,
Годами в форточку вползав,
Гнилой декабрь и жуткий запад.

Как неудавшийся пасьянс,
Как выпад карты неминучей.
Nonny soit qui mal у pense:⁹
Нас только ангел мог измучить.

В углах улыбки, на щеке,
На прядях – алая прохлада.
Пушатся уши и жакет.
Перчатки – пара шоколадок.

В коленях – шелест тупиков,
Тех тупиков, где от проходов,
От ветра, метел и пинков
Боярышник вкушает отдых.

Где горизонт, как рубикон,
Где сквозь агонию громленной
Рябины, в дождь бегут бегом
Свистки и тучи, и вагоны.

1916

Уральские стихи

1. Станция

Будто всем, что видит глаз,
До крапивы подзаборной,
Перед тем за миг пилаась
Сладость радуги нагорной.

Будто оттого синель
Из буфета выгнать нечем,
Что в слезах висел туннель
И на поезде ушедшем.

В час его прохода столь
На песке перронном людно,
Что глядеть с площадок боль,

⁹ Да будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает (старофранцузский). – Ред.

Как на блеск глазури блюдной.

Ад крошечный! К одному
Гибель солнц, стальных вдобавок,
Смотрит с темечек в дыму
Кружев, гребней и булавок.

Плюют семечки, топча
Мух, глотают чай, судача,
В зале, льющем сообща
С зноем неба свой в придачу.

А меж тем наперекор
Черным каплям пота в скопе,
Этой станции средь гор
Не к лицу название «Копи».

Пусть нельзя сильнее сжать
(Горы. Говор. Иностранцы),
Но и в жар она – свежа,
Будто только от колодца.

Будто всем, что видит глаз,
До крапивы подзаборной,
Перед тем за миг пилась
Сладость радуги нагорной.

Что ж вдыхает красоту
В мленье этих скул и личек? –
Мысль, что кажутся Хребту
Горкой крашенных яичек.

Это шеломит до слез,
Обдает холодной смутой,
Веет, ударяет в нос,
Снится, чудится кому-то.

Кто крестил леса и дал
Им удушливое имя?
Кто весь край предугадал,
Встарь пугавши финна ими?

Уголь эху завещал:
Быть Уралом диким соснам.
Уголь дал и уголь взял.
Уголь, уголь был их крестным.

Целиком пошли в отца
Реки и клыки ущелий,
Черной бурейю лица,
Клиньями столетних елей.

2.Рудник

Косую тень зари роднит
С косою тенью спин Продольный
Великокняжеский Рудник
И лес теней у входа в штольню.

Закат особенно свиреп,
Когда, с задов облив китайцев,
Он обдает тенями склеп,
Куда они упасть боятся.

Когда, цепляясь за края
Камнями выложенной арки,
Они волнуются, снуя,
Как знаки заклинанья, жарки.

На волосок от смерти всяк
Идущий дальше. Эти группы
Последний отделяет шаг
От царства угля – царства труп.

Прощаясь, смотрит рудокоп
На солнце, как огнепоклонник.
В ближайший миг на этот скоп
Пахнет руда,дохнет покойник.

И ночь обступит. Этот лед
Ее тоски неопишум!
Так страшен, может быть, отлет
Души с последним поцелуем.

Как на разведке, чуден звук
Любой. Ночами звуки редки.
И дико вскрикивает крюк
На промелькнувшей вагонетке.

Огарки, – а светлей костров.
Вблизи, – а чудится, верст за пять.
Росою черных катастроф
На волоса со сводов капит.

Слепая, вещая рука
Впотьмах выщупывает стенку,
Здорово дышит ли штрека,
И нет ли хриплого оттенка.

Ведь так легко пропасть, застряв,
Когда, лизнув пистон патрона,
Прольется, грянувши, затрав

По недрам гулко, похоронно.

А знаете ль, каков на цвет,
Как выйдешь, день с порога копи?
Слепит, землистый, – слова нет, –
Расплавленные капли, хлопья.

В глазах бурлят луга, как медь
В отеках белого каленья.
И шутка ль! – Надобно уметь
Не разрыдаться в исступленьи.

Как будто ты воскрес, как те –
Из допотопных зверских капищ,
И руки поднял, и с ногтей
Текучим сердцем наземь капишь.

1918

Белые стихи

И в этот миг прошли в мозгу все мысли
Единственные, нужные. Прошли
И умерли...

Александр Блок

Он встал. В столовой било час. Он знал, –
Теперь конец всему. Он встал и вышел.
Шли облака. Меж строк и как-то вскользь
Стучала трость по плитам тротуара,
И где-то громыхали дрожки. – Год
Назад Бальзак был понят сединой.
Шли облака. Стучала трость. Лило.

Он мог сказать: «Я знаю, старый друг,
Как ты дошел до этого. Я знаю,
Каким ключом ты отпер эту дверь,
Как ту взломал, как глядывал сквозь эту
И подсмотрел всё то, что увидал».

Из-под ладоней мокрых облаков,
Из-под теней, из-под сырых фасадов,
Мотаясь, вырывалась в фонарях
Захватанная мартом мостовая.

«И даже с чьим ты адресом в руках
Стирал ступени лестниц, мне известно».
– Блестали бляхи спавших сторожей,
И ветер гнал ботву по рельсам рынка.

«Сто Ганских с кашлем зябло по утрам
И волосы, расчесывая, драло
Гребенкою. Сто Ганских в зеркалах
Бросало в дрожь. Сто Ганских пило кофе.
А надо было Богу доказать,
Что Ганская – одна, как он задумал...» –
На том конце, где громыхали дрожки,
Запел петух. – «Что Ганская – одна,
Как говорила подпись Ганской в письмах,
Как сон, как смерть». – Светало. В том конце,
Где громыхали дрожки, пробуждались.

Как поздно отпираются кафе,
И как свежа печать сырой газеты!
Ничто не мелко, жирен всякий шрифт,
Как жир галош и шин, облитых солнцем.

Как празден дух прошедшего без сна
Такую ночь! Как голубо пылает
Фитиль в мозгу! Как ласков огонек!
Как непоследовательно насмешлив!

Он вспомнил всех. – Напротив, у молочной,
Рыжел навоз. Чирикал воробей.
Он стал искать той ветки, на которой
На части разрывался, вне себя
От счастья, этот щебет. Впрочем, вскоре
Он заключил, что ветка – над окном,
Ввиду того ли, что в его виду
Перед окошком не было деревьев,
Иль от чего еще. – Он вспомнил всех. –

О том, что справа сад, он догадался
По тени вяза, легшей на панель.
Она блистала, как и подстаканник.

Вдруг с непоследовательностью в мыслях,
Приличною не спавшему, ему
Подумалось на миг такое что-то,
Что трудно передать. В горящий мозг
Вошли слова: любовь, несчастье, счастье,
Судьба, событие, похождение, рок,
Случайность, фарс и фальшь. – Вошли и вышли.
По выходе никто б их не узнал,
Как девушек, остриженных машинкой
И пощаженных тифом. Он решил,
Что этих слов никто не понимает,
Что это не названия картин,
Не сцены, но – разряды матерьялов.
Что в них есть шум и вес сыпучих тел,
И сумрак всех букетов москательной.

Что мумией изображают кровь,
Но можно иней начертить сангиной,

И что в душе, в далекой глубине,
Сидит такой завзятый рисовальщик
И иногда рисует lune de miel¹⁰
Куском беды, крошащейся меж пальцев,
Куском здоровья – бешеный кошмар,
Обломком бреда – светлое блаженство.

В пригретом солнцем синем картузе,
Обдернувшись, он стал спиной к окошку,
Он продавал жестяных саламандр.
Он торговал осколками лазури,
И ящерицы бегали, блеща,
По яркому песку вдоль водостоков,
И щебетали птицы. Шел народ,
И дети разевали рты на диво.
Кормилица царицей проплыла.
За март, в апрель просилось ожерелье,
И жемчуг, и глаза, – кровь с молоком
Лица и рук, и бус, и сарафана.

Еще по кровлям ездил снег. Еще
Весна смеялась, вспенив снегу с солнцем.
Десяток парниковых огурцов
Был слишком слаб, чтоб в марте дать понятие
О зелени. Но март их понимал
И всем трубил про молодость и свежесть.

Из всех картин, что память сберегла,
Припомнилась одна: ночное поле.
Казалось, в звезды, словно за чулок,
Мякина забивается и колет.
Глаза, казалось, Млечный Путь пылит.

Казалось, ночь встает без сил с омета
И сор со звезд сметает. – Степь неслась
Рекой безбрежной к морю, и со степью
Неслись стога и со стогами – ночь.
На станции дежурил крупный храп,
Как пласт, лежавший на листе железа.
На станции ревели мухи. Дождь
Звенел об зымзу, словно о подойник.
Из четырех громадных летних дней
Сложило сердце эту память правде.
По рельсам плыли, прорезая мглу,
Столбы сигналов, ударяя в тучи,
И резали глаза. Бессонный мозг
Тянуло в степь, за шпалы и сторожки.

¹⁰ Медовый месяц (фр.) .

На станции дежурил храп, и дождь
Ленился и вздыхал в листве. – Мой ангел,
Ты будешь спать: мне обещала ночь!

Мой друг, мой дождь, нам некуда спешить.
У нас есть время. У меня в карманах –
Орехи. Есть за чем с тобой в степи
Полночи скоротать. Ты видел? Понял?
Ты понял? Да? Не правда ль, это – то?
Та бесконечность? То обетованье?
И стоило расти, страдать и ждать,
И не было ошибкою родиться?

На станции дежурил крупный храп.

Зачем же так печально опаданье
Безумных знаний этих? Что за грусть
Роняет поцелуи, словно август,
Которого ничем не оторвать
От лиственницы? Жаркими губами
Пристал он к ней, она и он в слезах,
Он совершенно мокр, мокры и иглы...

1918

Высокая болезнь

Мелькает движущийся ребус,
Идет осада, идут дни,
Проходят месяцы и лета.
В один прекрасный день пикеты,
Сбиваясь с ног от беготни,
Приносят весть: сдается крепость.
Не верят, верят, жгут огни,
Взрывают своды, ищут входа,
Выходят, входят, идут дни,
Проходят месяцы и годы.
Проходят годы, – все – в тени.
Рождается троянский эпос,
Не верят, верят, жгут огни,
Нетерпеливо ждут развода,
Слабеют, слепнут, – идут дни,
И в крепости крошатся своды.

Мне стыдно и день ото дня стыдней,
Что в век таких теней
Высокая одна болезнь
Еще зовется песнь.
Уместно ль песнью звать содом,
Усвоенный с трудом
Землей, бросавшейся от книг

На пики и на штык.

Благими намереньями вымощен ад.
Установился взгляд,
Что, если вымостить ими стихи, –
Простятся все грехи.
Все это режет слух тишины,
Вернувшейся с войны.
А как натянут этот слух, –
Узнали в дни разрух.

В те дни на всех припала страсть
К рассказам, и зима ночами
Не уставала вшами прясть,
Как лошади прядут ушами.
То шевелились тихой тьмы
Засыпанные снегом уши,
И сказками металась мы
На мятных пряниках подушек.

Обивкой театральных лож
Весной овладевала дрожь.
Февраль нищал и стал неряшлив.
Бывало, крикнет, кровь откашляв,
И сплюнет, и пойдет тишком
Шептать теплушкам на ушко
Про то да се, про путь, про шпалы.
Про оттепель, про что попало;
Про то, как с фронта шли пешком.
Уж ты и спишь, и смерти ждешь.
Рассказчику ж и горя мало:
В ковшах оттаявших калош
Припутанную к правде ложь
Глокает платяная вошь
И прясть ушами не устала.

Хотя зарей чертополох,
Стараясь выгнать тень подлиньше,
Растягивал с трудом таким же
Ее часы, как только мог;
Хотя, как встарь, проселок влек
Колеса по песку в разлог,
Чтоб снова на суглинок вымчать
И вынести вдоль жердей и слег;
Хотя осенний свод, как нынче,
Был облачен, и лес далек,
А вечер холоден и дымчат,
Однако это был подлог,
И сон застигнутой врасплох
Земли похож был на родимчик,
На смерть, на тишину кладбищ,
На ту особенную тишь,

Что спит, окутав округ целый,
И, вздрагивая то и дело,
Припомнить силится: «Что, бишь,
Я только что сказать хотела?»

Хотя, как прежде, потолок,
Служа опорой новой клетки,
Тащил второй этаж на третий
И пятый на шестой волок,
Внушая сменой подоплек,
Что все по-прежнему на свете,
Однако это был подлог,
И по водопроводной сети
Взбирался кверху тот пустой,
Сосущий клекот лихолетья,
Тот, жженный на огне газеты,
Смрад лавра и китайских сой,
Что был нудней, чем рифмы эти,
И, стоя в воздухе верстой,
Как бы бурчал: «Что, бишь, постой,
Имел я нынче съесть в предмете?»

И полз голодною глистой
С второго этажа на третий
И крался с пятого в шестой.
Он славил твердость и застой
И мягкость объявлял в запрете.
Что было делать? Звук исчез
За гулом выросших небес.

Их шум, попавши на вокзал,
За водокачкой исчезал,
Потом их относило за лес,
Где сыпью насыпи казались,
Где между сосен, как насос,
Качался и качал занос,
Где рельсы слепли и чесались,
Едва с пургой соприкасались.

А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент
В огне декретов и реклам
Горел во славу темной силы,
Что потихоньку по углам
Его с усмешкой поносила
За подвиг, если не за то,
Что дважды два не сразу сто.
А сзади, в зареве легенд
Идеалист-интеллигент
Печатал и писал плакаты

Про радость своего заката.

В сермягу завернувшись, смерд
Смотрел назад, где север мерк,
И снег соперничал в усердьи
С сумерничающею смертью.
Там, как орган, во льдах зеркал
Вокзал загадкою сверкал,
Глаз не смыкал и горе мыкал
И спорил дикой красотой
С консерваторской пустотой
Порой ремонтов и каникул.
Невыносимо тихий тиф,
Колени наши охватив,
Мечтал и слушал с содроганьем
Недвижно лившийся мотив
Сыпучего самосверганья.
Он знал все выемки в органе
И пылью скучивался в швах
Органых меховых рубах.
Его взыскательные уши
Еще упрашивали мглу,
И лед, и лужи на полу
Безмолвствовать как можно суше.

Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду.
Здесь места нет стыду.
Я не рожден, чтоб три раза

Смотреть по-разному в глаза.
Еще двусмысленней, чем песнь,
Тупое слово – враг.
Гощу. – Гостит во всех мирах
Высокая болезнь.
Всю жизнь я быть хотел как все,
Но век в своей красе
Сильнее моего нитья
И хочет быть, как я.

Мы были музыкаю чашек,
Ушедших кушать чай во тьму
Глухих лесов, косых замашек
И тайн, не льстящих никому.
Трещал мороз, и ведра висли.
Кружились галки, – и ворот
Стыдился застуженный год.
Мы были музыкаю мысли,
Наружно сохранявшей ход,
Но в стужу превращавшей в лед

Заслякоченный черный ход.

Но я видал Девятый съезд
Советов. В сумерки сырые
Пред тем обегав двадцать мест,
Я проклял жизнь и мостовые,
Однако сутки на вторые,
И, помню, в самый день торжеств,
Пошел, взволнованный донельзя,
К театру с пропуском в оркестр.

Я трезво шел по трезвым рельсам,
Глядел кругом, и всё окрест
Смотрело полным погорельцем,
Отказываясь наотрез
Когда-нибудь подняться с рельс.
С стенных газет вопрос карельский
Глядел и вызывал вопрос
В больших глазах больных берез.
На телеграфные устои
Садился снег тесьмой густою,
И зимний день в канве ветвей
Кончался, по обыкновенью,
Не сам собою, но в ответ
На поученье. В то мгновенье
Моралью в сказочной канве
Казалась сказка про конвент.
Про то, что гения горячка
Цементу крепче и белей.
(Кто не ходил за этой тачкой,
Тот испытай и поболей.)
Про то, как вдруг в конце недели
На слепнувших глазах творца,
Родятся стены цитадели
Иль крошечная крепостца.

Чреду веков питает новость,
Но золотой ее пирог,
Пока преданье варит соус,
Встает нам горла поперек.
Теперь из некоторой дали
Не видишь пошлых мелочей.
Забылся трафарет речей,
И время сгладило детали,
А мелочи преобладали.

Уже мне не прописан фарс
В лекарства ото всех мытарств.
Уж я не помню основанья
Для гладкого голосованья.
Уже я позабыл о дне,
Когда на океанском дне

В зияющей японской бреши
Сумела различить депеша
(Какой ученый водолаз)
Класс спрутов и рабочий класс.
А огнедышащие горы,
Казалось, – вне ее разбора.

Но было много дел тупей
Классификации Помпей.
Я долго помнил назубок
Кощунственную телеграмму:
Мы посылали жертвам драмы
В смягченье треска Фузиямы
Агитпрофсожеский лубок.

Проснись, поэт, и суй свой пропуск.
Здесь не в обычае зевать.
Из лож по креслам скачут в пропасть
Мста, Ладога, Шексна, Ловать.
Опять из актового зала
В дверях, распахнутых на юг,
Прошло по лампам опахало
Арктических Петровых вьюг.
Опять фрегат пошел на траверс.
Опять, хлебнув большой волны,
Дитя предательства и каверз
Не узнает своей страны.

Все спало в ночь, как с громким порском
Под царский поезд до зари
По всей окраине поморской
По льду рассыпались псари.
Бряцанье шпор ходило горбясь,
Преданье прятало свой рост
За железнодорожный корпус,
Под железнодорожный мост,
Орлы двуглавые в вуали,
Вагоны Пульмана во мгле
Часами во поле стояли,
И мартом пахло на земле.
Под Порховом в брезентах мокрых
Вздувавшихся верст за сто вод
Со сна на весь Балтийский округ
Зевал пороховой завод.

И уставал орел двуглавый,
По Псковской области кружа,
От стягивавшейся облавы
Неведомого мятежа.
Ах, если бы им мог попасться
Путь, что на карты не попал.
Но быстро таяли запасы

Отмеченных на картах шпал.
Они сорта перебирали
Исципанного полотна.
Везде ручьи вдоль рельс играли,
И будущность была мутна.
Сужался круг, редели сосны,
Два солнца встретились в окне.
Одно всходило из-за Тосна,
Другое заходило в Дне.

Чем мне закончить мой отрывок?
Я помню, говорок его
Пронзил мне искрами загрибок,
Как шорох молнии шаровой.
Все встали с мест, глазами втуне
Обшаривая крайний стол,
Как вдруг он вырос на трибуне,
И вырос раньше, чем вошел.
Он проскользнул неуследимо
Сквозь строй препятствий и подмог,
Как этот в комнату без дыма
Грозы влетающий комок.
Тогда раздался гул оваций,
Как облегченье, как разряд
Ядра, невластного не рваться
В кольцо поддержек и преград.
И он заговорил. Мы помним
И памятники павшим чтим.
Но я о мимолетном. Что в нем
В тот миг связалось с ним одним?

Он был как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И пяля передки штиблет.
Слова могли быть о мазуте,
Но корпуса его изгиб
Дышал полетом голой сути,
Прорвавшей глупый слой лужги.
И эта голая картавость
Отчитывалась вслух во всем,
Что кровью былей начерталось:
Он был их звуковым лицом.
Когда он обращался к фактам,
То знал, что, полоща им рот

Его голосовым экстрактом,
Сквозь них история орет.
И вот, хоть и без панибратства,
Но и вольней, чем перед кем,
Всегда готовый к ней придраться,
Лишь с ней он был накоротке.

Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому – страной.

Я думал о происхожденьи
Века связующих тягот.
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.

1923, 1928

Второе рождение

Волны

Здесь будет всё: пережито и
И то, чем я еще живу,
Мои стремленья и устои,
И виденное наяву.

Передо мною волны моря.
Их много. Им немислим счет.
Их тьма. Они шумят в миноре.
Прибой, как вафли, их печет.

Весь берег, как скотом, исшмыган.
Их тьма, их выгнал небосвод.
Он их гуртом пустил на выгон
И лег за горкой на живот.

Гуртом, сворачиваясь в трубки,
Во весь разгон моей тоски
Ко мне бегут мои поступки,
Испытанного гребешки.

Их тьма, им нет числа и сметы,
Их смысл досель еще не полн,
Но всё их сменою одето,
Как пенье моря пеной волн.

«Вотчем лесные дебри брали...»

Вот чем лесные дебри брали,
Когда на рубеже их царств
Предупрежденьем о Дарьяле
Со дна оврага вырос Ларс.

Всё смолкло, сразу впав в немилость,
Всё стало гулом: сосны, мгла...
Всё громкой тишиной дымилось,
Как звон во все колокола.

Кругом толпились гор отроги,
И новые отроги гор
Входили молча по дороге
И уходили в коридор.

А в их толпе у парапета
Из-за угла, как пешеход,
Прошедший на рассвете Млеты,
Показывался небосвод.

Он дальше шел. Он шел отселе,
Как всякий шел. Он шел из мглы
Удушливых ушей ущелья –
Верблюдом сквозь ушко иглы.

Он шел с котомкой по дну балки,
Где кости круч и облака
Торчат, как палки катафалка,
И смотрят в клетку рудника.

На дне той клетки едим натром
Травится Терек, и руда
Орет пред всем амфитеатром
От боли, страха и стыда.
Он шел породой, бьющей настезь
Из преисподней на простор,
А эхо, как шоссейный мастер,
Сгребало в пропасть этот сор.

«Ужзамка тень росла из крика...»

Уж замка тень росла из крика
Обретших слово, а в горах,
Как мамкой пуганный заика,
Мычал и таял Девдорах.

Мы были в Грузии. Помножим
Нужду на нежность, ад на рай,
Теплицу льдам возьмем подножьем,
И мы получим этот край.

И мы поймем, в сколь тонких дозах
С землей и небом входят в смесь
Успех и труд, и долг, и воздух,
Чтоб вышел человек, как здесь.

Чтобы, сложившись средь бескормиц,
И поражений, и неволь,
Он стал образчиком, оформясь
Во что-то прочное, как соль.

«Кавказ был весь как на ладони...»

Кавказ был весь как на ладони
И весь как смятая постель,
И лед голов синел бездонней
Тепла нагретых пропастей.

Туманный, не в своей тарелке,
Он правильно, как автомат,
Вздыхал, как залпы перестрелки,
Злорадство ледяных громад.

И в эту красоту уставясь
Глазами бравших край бригад,
Какую ощутил я зависть
К наглядности таких преград!

О, если б нам подобный случай,
И из времен, как сквозь туман,
На нас смотрел такой же кручей
Наш день, наш генеральный план!

Передо мною днем и ночью
Шагала бы его пята,
Он мял бы дождь моих пророчеств
Подошвой своего хребта.

Ни с кем не надо было б грызться.
Не заподозренный никем,
Я вместо жизни виршеписца
Повел бы жизнь самих поэм.

«Здесь будет всё: пережитое...»

Здесь будет всё: пережитое
В предвиденьи и наяву,
И те, которых я не стою,
И то, за что средь них слышу.

И в шуме этих категорий
Займут по первенству куплет
Леса аджарского предгорья
У взморья белых Кобулет.

Еще ты здесь, и мне сказали,
Где ты сейчас и будешь в пять,
Я б мог застать тебя в курзале,
Чем даром языком трепать.

Ты б слушала и молодеда,
Большая, смелая, своя,
О человеке у предела
От переростка муравья.

Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.

В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.

Но мы пощажены не будем,
Когда ее не утаим.
Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им.

«Октябрь, а солнце, что твой август...»

Октябрь, а солнце, что твой август,
И снег, ожегший первый холм,
Усугубляет тугоплавкость
Катящихся, как вафли, волн.

Когда он платиной из тигля
Просвечивает сквозь листву,
Чернее лиственницы иглы, –
И снег ли то по существу?

Он блещет снимком лунной ночи,
Рассматриваемой в обед,
И сообщает пошлость Сочи
Природе скромных Кобулет.

И всё ж то знак: зима при две#769;рях,
Почтим же лета эпилог.
Простимся с ним, пойдем на берег
И ноги окунем в белок.

«Растет икрепнет ветра натиск...»

Растет и крепнет ветра натиск,
Растут фигуры на ветру.
Растут и, кутаясь и пятясь,
Идут вдоль волн, как на смотру.

Обходят линию прибоя,
Уходят в пены перезвон,
И с ними, выгнувшись трубою,
Здоровается горизонт.

1931

Баллада

Дрожат гаражи автобазы,
Нет-нет, как кость, взблеснет костел.
Над парком падают топазы,
Слепых зарниц бурлит котел.
В саду – табак, на тротуаре –
Толпа, в толпе – гуденье пчел,
Разрывы туч, обрывки арий,
Недвижный Днепр, ночной Подол.

«Пришел», – летит от вяза к вязу,
И вдруг становится тяжел
Как бы достигший высшей фазы
Бессонный запах метиол.
«Пришел», – летит от пары к паре,
«Пришел», – стволу лепечет ствол.
Потоп зарниц, гроза в разгаре,
Недвижный Днепр, ночной Подол.

Удар, другой, пассаж, – и сразу
В шаров молочный ореол
Шопена траурная фраза
Вплывает, как больной орел.
Под ним – угар араукарий,
Но глух, как будто что обрел,
Обрывы донизу обшаря,
Недвижный Днепр, ночной Подол.

Полет орла как ход рассказа.
В нем все соблазны южных смол
И все молитвы и экстазы
За сильный и за слабый пол.
Полет – сказанье об Икаре.
Но тихо с круч ползет подзол,
И глух, как каторжник на Каре,
Недвижный Днепр, ночной Подол.

Вам в дар баллада эта, Гарри.
Воображенья произвол
Не тронул строк о вашем даре:
Я видел всё, что в них привел.
Запомню и не разбазарю:
Метель полных метиол.
Концерт и парк на крутояре.
Недвижный Днепр, ночной Подол.

Лето

Ирпень – это память о людях и лете,
О воле, о бегстве из-под кабалы,
О хвое на зное, о сером левкое
И смене безветрия, вёдра и мглы.

О белой вербене, о терпком терпении
Смолы; о друзьях, для которых малы
Мои похвалы и мои восхваленья,
Мои славословья, мои похвалы.

Пронзительных иволог крик и явленье
Китайкой и углем желтило стволы,
Но сосны не двигали игол от лени
И белкам и дятлам сдавали углы.

Сырели комоды, и смену погоды
Древесная квакша вещала с сучка,
И балка у входа ютила удода,
И, детям в угоду, запечье – сверчка.

В дни съезда шесть женщин топтали луга.
Лениво паслись облака в отдаленьи.
Смеркалось, и сумерек хитрый манёвр
Сводил с полутьмою зажженный репейник,
С землю – саженные тени ирпенек
И с небом – пожар полосатых панёв.

Смеркалось, и, ставя простор на колени,
Загон горизонта смыкал полукруг.
Зарницы вздымали рога по-оленьи,
И с сена вставали и ели из рук
Подруг, по приходе домой, тем не мене
От жуликов дверь запиравших на крюк.

В конце, пред отъездом, ступая по кипе
Листвы облетелой в жару бредовом,
Я с неба, как с губ, перетянутых сыпью,
Налет недомолвок сорвал рукавом.

И осень, дотоле вопившая выпью,
Прочистила горло; и поняли мы,
Что мы на пиру в вековом прототипе –
На пире Платона во время чумы.

Откуда же эта печаль, Диотима?
Каким увереньем прервать забытьё?
По улицам сердца из тьмы нелюдимой!
Дверь настезь! За дружбу, спасенье мое!

И это ли происки Мэри-арфистки,
Что рока игрою ей под руки лег
И арфой шумит ураган аравийский,
Бессмертья, быть может, последний залог.

1930

Смерть поэта

Не верили, – считали, – бредни,
Но узнавали: от двоих,
Троих, от всех. Равнялись в строку
Остановившегося срока

Дома чиновниц и купчих,
Дворы, деревья, и на них
Грачи, в чаду от солнцепека
Разгоряченно на грачих
Кричавшие, чтоб дуры впредь не
Совались в грех.
И как намедни
Был день. Как час назад. Как миг
Назад. Соседний двор, соседний
Забор, деревья, шум грачих.

Лишь был на лицах влажный сдвиг,
Как в складках порванного бредня.

Был день, безвредный день, безвредней
Десятка прежних дней твоих.

Толпились, выстроясь в передней,
Как выстрел выстроил бы их.

Как, сплющив, выплеснул из стока б
Лещей и щуку минный вспых
Шутих, заложенных в осоку,
Как вздох пластов нехолостых.

Ты спал, постлав постель на сплетне,

Спал и, оттрепетав, был тих, –
Красивый, двадцатидвухлетний,
Как предсказал твой тетраптих.

Ты спал, прижав к подушке щеку,
Спал, – со всех ног, со всех лодыг
Врезаясь вновь и вновь с наскоку
В разряд преданий молодых.

Ты в них врезался тем заметней,
Что их одним прыжком достиг.
Твой выстрел был подобен Этне
В предгорьях трусиков и трусиков.

Друзья же изощрались в спорах,
Забыв, что рядом – жизнь и я.

Ну что ж еще? Что ты припер их
К стене, и стер с земли, и страх
Твой порох выдает за прах?

Но мрази только он и дорог.
На то и рассуждений ворох,
Чтоб не бежала за края
Большого случая струя,
Чрезмерно скорая для хворых.

Так пошлость свертывает в творог
Седые сливки бытия.

1930

«Годами когда-нибудь взале концертной...»

Годами когда-нибудь в зале концертной
Мне Брамса сыграют, – тоской изойду.
Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый,
Проголки, купанье и клумбу в саду.

Художницы робкой, как сон, крутолобость,
С беззлой улыбкой, улыбкой вздох,
Улыбкой, огромной и светлой, как глобус,
Художницы облик, улыбку и лоб.

Мне Брамса сыграют, – я вздрогну, я сдамся,
Я вспомню покупку припасов и круп,
Ступеньки террасы и комнат убранство,
И брата, и сына, и клумбу, и дуб.

Художница пачкала красками траву,
Роняла палитру, совала в халат

Набор рисовальный и пачки отравы,
Что «Басмой» зовутся и астму сулят.

Мне Брамса сыграют, – я сдамся, я вспомню
Упрямую заросль, и кровлю, и вход,
Балкон полутемный и комнат питомник,
Улыбку, и облик, и брови, и рот.

И сразу же буду слезами увлажен
И вымокну раньше, чем выплачусь я.
Горячая давность ударит из скважин,
Околицы, лица, друзья и семья.

И станут кружком на лужке интермеццо,
Руками, как дерево, песнь охватив,
Как тени, вертеться четыре семейства
Под чистый, как детство, немецкий мотив.

1931

«Неволнуйся, неплачь, нетруди...»

Не волнуйся, не плачь, не труди
Сил иссякших и сердца не мучай.
Ты жива, ты во мне, ты в груди,
Как опора, как друг и как случай.

Верой в будущее не боюсь
Показаться тебе краснобаем.
Мы не жизнь, не душевный союз, –
Обоюдный обман обрубаем.

Из тифозной тоски тюфяков
Вон на воздух широт образцовый!
Он мне брат и рука. Он таков,
Что тебе, как письмо, адресован.

Надорви ж его ширь, как письмо,
С горизонтом вступи в переписку,
Победи изнуренья измор,
Заведи разговор по-альпийски.

И над блюдом баварских озер
С мозгом гор, точно кости мосластых,
Убедишься, что я не фразер
С заготовленной к месту подсласткой.

Добрый путь. Добрый путь. Наша связь,
Наша честь не под кровлею дома.
Как росток на свету распрямясь,
Ты посмотришь на всё по-другому.

1931

«Окно, пюпитр и, каковыраги эхом...»

Окно, пюпитр и, как овраги эхом, –
Полны ковры всем играным. В них есть
Невысказанность. Здесь могло с успехом
Сквозь исполнение авторство процвести.

Окно не на две створки *alla breve*¹¹,
Но шире, – на три: в ритме трех вторых.
Окно и двор, и белые деревья,
И снег, и ветки, – свечи пятерик.

Окно, и ночь, и пульсом бьющий иней
В ветвях, – в узлах височных жил. Окно,
И синий лес висячих нотных линий,
И двор. Здесь жил мой друг. Давно-давно

Смотрел отсюда я за круг Сибири,
Но друг и сам был городом, как Омск
И Томск, – был кругом войн и перемирий
И кругом свойств, занятий и знакомств.

И часто-часто, ночь о нем продумав,
Я утра ждал у трех оконных створ.
И муторным концертом мертвых шумов
Копался в мерзлых внутренностях двор.

И мерил я полуторного мерой
Судьбы и жизни нашей недомер,
В душе ж, как в детстве, снова шел премьерой
Большого неба ветреный пример.

1931

«Любить иных– тяжелый крест...»

Любить иных – тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.

Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.

¹¹ Кратко (*ит.*), укороченный счет 2/2 (*муз.*).

Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
И жить, не засоряясь впредь,
Всё это – не большая хитрость.

1931

«Всеснег да снег,– терпи иточка...»

Все снег да снег, – терпи и точка.
Скорей уж, право б, дождь прошел
И горькой тополевой почкой
Подруги сдобрил скромный стол.

Зубровкой сумрак бы закапал,
Укропу к супу б накрошил,
Бокалы, грохотом вокабул,
Латынью ливня оглушил.

Тупицу б двинул по затылку, –
Мы в ту пору б оглохли, но
Откупорили б, как бутылку,
Заплесневелое окно,

И гам ворвался б: «Ливень заслан
К чертям, куда Макар телят
Не ганивал...» И солнце маслом
Асфальта б залило салат.

А вскачь за тряскою четверкой
За безрессоркою Ильи, –
Мои телячьи бы восторги,
Телячьи б нежности твои.

1931

«Платки, подборы, жгучий взгляд...»

Платки, подборы, жгучий взгляд
Подснежников – не оторваться.
И грязи рыжий шоколад
Не выровнен по ватерпасу.

Но слякоть месит из лучей
Весну и сонный стук каменьев,
И птичьи крики мнет ручей,
Как лепят пальцами пельмени.

Платки, оборки – благодать!

Проталин черная лакрица...
Сторицей дай тебе воздать
И, как реке, вздохнуть и вскрыться.

Дай мне, превысив нивелир,
Благодарить тебя до сипу
И сверху окуни свой мир,
Как в зеркало, в мое спасибо.

Толпу и тумбы опрокинь,
И желоба в слюне и пене,
И неба роговую синь,
И облаков пустые тени.

Слепого полдня желатин,
И желтые очки промоин,
И тонкие слюдинки льдин,
И кочки с черной бахромою.

1931

«Любимая,— молвы слащавой...»

Любимая, – молвы слащавой,
Как угля, вездесуща гарь.
А ты – подспудной тайной славы
Засасывающий словарь.

А слава – почвенная тяга.
О, если б я прямой возник!
Но пусть и так, – не как бродяга,
Родным войду в родной язык.

Теперь не сверстники поэтов,
Вся ширь проселков, меж и лех
Рифмует с Лермонтовым лето
И с Пушкиным гусей и снег.

И я б хотел, чтоб после смерти,
Как мы замкнемся и уйдем,
Тесней, чем сердце и предсердье,
Зарифмовали нас вдвоем.

Чтоб мы согласия сочетаньем
Застлали слух кому-нибудь
Всем тем, что сами пьем и тянем
И будем ртами трав тянуть.

1931

«Красавица моя, всястать...»

Красавица моя, вся стать,
Вся суть твоя мне по сердцу,
Вся рвется музыкою стать,
И вся на рифмы просится.

А в рифмах умирает рок,
И правдой входит в наш мирок
Миров разноголосица.

И рифма не вторенье строк,
А гардеробный номерок,
Талон на место у колонн
В загробный гул корней и лон.

И в рифмах дышит та любовь,
Что тут с трудом выносятся,
Перед которой хмурят бровь
И морщат переносицу.

И рифма не вторенье строк,
Но вход и пропуск за порог,
Чтоб сдать, как плащ за бляшкою,
Болезни тягость тяжкую,
Боязнь огласки и греха
За громкой бляшкою стиха.

Красавица моя, вся суть,
Вся статья твоя, красавица,
Спирает грудь и тянет в путь,
И тянет петь и – нравится.

Тебе молился Поликлет.
Твои законы изданы.
Твои законы в далях лет.
Ты мне знакома издавна.

1931

«Никого не будет в доме...»

Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проеме
Незадернутых гардин.

Только белых мокрых комьев
Быстрый промельк маховой.
Только крыши, снег и, кроме
Крыш и снега, – никого.

И опять зачертит иней,
И опять завертит мной
Прошлогоднее унынье
И дела зимы иной,

И опять кольнут доньне
Не отпущенной виной,
И окно по крестовине
Сдавливает голод дровяной.

Но нежданно по портъере
Пробежит вторженья дрожь.
Тишину шагами меря,
Ты, как будущность, войдешь.

Ты появишься у двери
В чем-то белом, без причуд,
В чем-то впрямь из тех материй,
Из которых хлопья шьют.

1931

«Ты здесь, мы в воздухе одном...»

Ты здесь, мы в воздухе одном.
Твое присутствие, как город,
Как тихий Киев за окном,
Который в зной лучей обернут,

Который спит, не опочив,
И сном борим, но не поборот,
Срывает с шеи кирпичи,
Как потный чесучовый ворот,

В котором, пропотев листвою
От взятых только что препятствий,
На побежденной мостовой
Устало тополя толпятся.

Ты вся, как мысль, что этот Днепр
В зеленой коже рвов и стежек,
Как жалобная книга недр
Для наших записей расхожих.

Твое присутствие, как зов
За полдень поскорей усесться
И, перечтя его с азов,
Вписать в него твое соседство.

1931

«Опять Шопен ищет выгод...»

Опять Шопен не ищет выгод,
Но, окрыляясь на лету,
Один прокладывает выход
Из вероятья в правоту.

Задворки с выломанным лазом,
Хибарки с паклей по бортам.
Два клена в ряд, за третьим, разом
Соседней Рейтарской квартал.

Весь день внимают клены детям,
Когда ж мы ночью лампу жжем
И листья, как салфетки, метим,
Крошатся огненным дождем.

Тогда, насквозь проколов родив
Штыками белых пирамид,
В шатрах каштановых напротив
Из окон музыка гремит.

Гремит Шопен, из окон грянув,
А снизу, под его эффект
Пряма подсвечники каштанов,
На звезды смотрит прошлый век.

Как бьют тогда в его сонате,
Качая маятник громад,
Часы разъездов и занятий,
И снов без смерти и фермат!

Итак, опять из-под акаций
Под экипажи парижан?
Опять бежать и спотыкаться,
Как жизни тряский дилижанс?

Опять трубить, и гнать, и звякать,
И, мякоть в кровь поря, – опять
Рождать рыданье, но не плакать,
Не умирать, не умирать?

Опять в сырую ночь в мальпосте
Проездом в гости из гостей
Подслушать пенье на погосте
Колес, и листьев, и костей.

В конце ж, как женщина, отпрянув
И чудом сдерживая прыть
Впотьмах приставших горлопанов,
Распятем фортепьян застыть?

А век спустя, в самозащите
Задев за белые цветы,
Разбить о плиты общежитий
Плиту крылатой правоты.

Опять? И, посвятив соцветьям
Рояля гулкий ритуал,
Всем девятнадцатым столетьем
Упасть на старый тротуар.

1931

«Вечерело. Повсюду ретиво...»

Вечерело. Повсюду ретиво
Рос орешник. Мы вышли на скат.
Нам открылась картина на диво.
Отдышась, мы взглянули назад.

По краям пропастей куролеса,
Там, как прежде, при нас, напролом
Совершало подъем мелколесье,
Попирая гнилой бурелом.

Там, как прежде, в фарфоровых гнездах
Колченого хромал телеграф,
И дышал и карабкался воздух,
Грабов головы кверху задрал.

Под прорешливой сенью орехов
Там, как прежде, в петливой красе
По заре вечеревшей проехав,
Колесило и рдело шоссе.

Каждый спуск и подъем что-то чуял,
Каждый столб вспоминал про разбой,
И, всё тулово вытянув, буйвол
Голым дьяволом плыл под арбой.

А вдали, где, как змеи на яйцах,
Тучи в кольца свивались, – грозней,
Чем былые набеги ногайцев,
Стлались цепи китайских теней.

То был ряд усыпальниц, в завесе
Заметенных снегами путей
За кулисы того поднебесья,
Где томился и мерк Прометей.

Как усопших представшие души,

Были все ледники налицо.
Солнце тут же японскою тушью
Переписывало мертвецов.

И тогда, вчетвером на отвесе,
Как один, заглянули мы вниз.
Мельтеша, точно чернь на эфесе,
В глубине шевелился Тифлис.

Он так полно осмеивал сферу
Глазомера и всё естество,
Что возник и остался химерой,
Точно град не от мира сего.

Точно там, откупаяся данью,
Длился век, когда жизнь замерла
И горячие серные бани
Из-за гор воевал Тамерлан.

Будто вечер, как встарь, его вывел
На равнину под персов обстрел.
Он малиною кровель червивел
И, как древнее войско, пестрел.

1931

«О, знал бы я, что так бывает...»

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью – убивают,
Нахлынут горлом и убьют!

От шуток с этой подоплекой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далеко,
Так робок первый интерес.

Но старость – это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

1932

«Когда я устаю отпустозвонства...»

Когда я устаю от пустозвонства
Во все века вертевшихся льстецов,
Мне хочется, как сон при свете солнца,
Припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо.

Незваная, она внесла, во-первых,
Во все, что случилось, вкус больших начал.
Я их не выбирал, и суть не в нервах,
Что я не жаждал, а предвосхищал.

И вот года строительного плана,
И вновь зима, и вот четвертый год.
Две женщины, как отблеск ламп Светлана,
Горят и светят средь его тягот.

Мы в будущем, твержу я им, как все, кто
Жил в эти дни. А если из калек,
То все равно: телегою проекта
Нас переехал новый человек.

Когда ж от смерти не спасет таблетка,
То тем свободней время поспешит
В ту даль, куда вторая пятилетка
Протягивает тезисы души.

Тогда не убивайтесь, не тужите,
Всей слабостью клянусь остаться в вас.
А сильными обещано изжитье
Последних язв, одолевавших нас.

1932

«Стихи мои, бегом, бегом...»

Стихи мои, бегом, бегом,
Мне в вас нужда, как никогда.
С бульвара за угол есть дом,
Где дней порвалась череда,
Где пуст уют и брошен труд
И плачут, думают и ждут.

Где пьют, как воду, горький бром
Полубессонниц, полудрем.
Есть дом, где хлеб как лебеда,
Есть дом, – так вот бегом туда.
Пусть вьюга с улиц улюлю, –
Вы – радугой по хрустально,
Вы – сном, вы – вестью: я вас шлю,
Я шлю вас, значит, я люблю.

О ссадины вокруг женских шей
От вешавшихся фетишей!
Как я их знаю, как постиг,
Я, вешающийся на них.
Всю жизнь я сдерживаю крик
О видимости их вериг,
Но их одолевает ложь
Чужих похолодевших лож,
И образ Синей Бороды
Сильнее, чем мои труды.

Наследье страшное мещан,
Их посещает по ночам
Несуществующий, как Вий,
Обидный призрак нелюбви,
И привиденьем искажен
Природный жребий лучших жен.

О, как она была смела,
Когда едва из-под крыла
Любимой матери, шутя,
Свой детский смех мне отдала,
Без прекословий и помех
Свой детский мир и детский смех,
Обид не знавшее дитя,
Свои заботы и дела.

1931

«Упрек не успел потускнеть...»

Упрек не успел потускнеть,
С рассвета опять потрясенье.
Вослед за содеянным смерть
Той ночью вошла в твои сени.

Скончался большой музыкант,
Твой идол и родич, и этой
Утратой открылся закат
Уюта и авторитета.

Стояли, от слез охмелев
И астр тяжеля переливы,
Белел алебастром рельеф
Одной головы горделивой.

Черты в две орлиных дуги
Несли на буксире квартиру,
Обрывки цветов, и шаги,
И приторный привкус эфира.

Твой обморок мира не внес
В качанье венков в одноколке,
И пар обмороженных слез
Пронзил нашатырной иглой.

И марш похоронный роптал,
И снег у ворот был раскидан,
И консерваторский портал
Гражданскою плыл панихидой.

Меж пальм и московских светил,
К которым ковровой дорожкой
Я тихо тебя подводил,
Играла огромная брошка.

Орган отливал серебром,
Немой, как в руках ювелира,
А издали слышался гром,
Катившийся из-за полмира.

Покоилась люстр тишина,
И в зареве их бездыханном
Играл не орган, а стена,
Украшенная органом.

Ворочая балки, как слон,
И освобождаясь от бревен,
Хорал выходил, как Самсон,
Из кладки, где был замурован.

Томившийся в ней поделом,
Но пущенный из заточенья,
Он песнею несся в пролом
О нашем с тобой обрученьи.

Но он был любим. Ничего
Не может пропасть. Еще мене –
Семья и талант. От него
Остались броски сочинений.

Ты дома подынешь пюпитр,
И, только коснешься до клавиш,
Попытка тебя ослепит,
И ты ей все крылья расправишь.

И будет январь и луна,
И окна с двойным позументом
Ветвей в серебре галуна,
И время пройдет незаметно.

А то, удивившись на миг,
Спохватишься ты на концерте,
Насколько скромней нас самих
Вседневное наше бессмертье.

1931

«Весенний день тридцатого апреля...»

Весенний день тридцатого апреля
С рассвета отдается детворе.
Захваченный примеркой ожерелья,
Он еле управляется к заре.

Как горы мятой ягоды под марлей,
Всплывает город из-под кисеи.
По улицам шеренгой куцых карлиц
Бульвары тянут сумерки свои.

Вечерний мир всегда бутон кануна.
У этого ж – особенный почин.
Он расцветет когда-нибудь коммуной
В скрещеньи многих майских годовщин.

Он долго будет днем переустройства,
Предпраздничных уборок и затей,
Как были до него березы Троицы
И, как до них, огни панатеней.

Всё так же будут бить песок размякший
И на иллюминированный карниз
Подтаскивать кумач и тес. Всё так же
По сборным пунктам развозить актрис.

И будут бодро по трое матросы
Гулять по скверам, огибая дерн.
И к ночи месяц в улицы вотрется,
Как мертвый город и остывший горн.

Но с каждой годовщиной все махровой
Тугой задаток розы будет цвести,
Все явственнее прибывать здоровье,
И все заметней искренность и честь.

Все встрепаннее, все многолепестней
Ложиться будут первого числа
Живые нравы, навыки и песни
В луга и пашни и на промысла.

Пока, как запах мокрых центифолий,

Не вырвется, не выразится вслух,
Не сможет не сказаться поневоле
Созревших лет перебродивший дух.

1931

«Столетье слишним– невчера...»

Столетье с лишним – не вчера,
А сила прежняя в соблазне
В надежде славы и добра
Глядеть на вещи без боязни.

Хотеть, в отличие от хлыща
В его существовании кратком,
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком.

И тот же тотчас же тупик
При встрече с умственной ленью,
И те же выписки из книг,
И тех же эр сопоставленья.

Но лишь сейчас сказать пора,
Величьем дня сравненье разня:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Итак, вперед, не трепеща
И утешаясь параллелью,
Пока ты жив, и не моща,
И о тебе не пожалели.

1931

«Весеннею порою льда...»

Весеннею порою льда
И слез, весной бездонной,
Весной бездонною, когда
В Москве – конец сезона,
Вода доходит в холода
По пояс небосклону,
Отходят рано поезда,
Пруды – желто-лимонны,
И проводы, как провода,
Оттянуты в затоны.

Когда ручьи поют романс
О непролазной грязи,

И вечер явно не про нас
Таинственен и черномаз,
И неба безобразье –
Как речь сказителя из масс
И женщин до потопа,
Как обаянье без гримас
И отдых углекопа.

Когда какой-то брод в груди,
И лошадью на броне
В нас что-то плачет: пощади,
Как площади отродье.
Но столько в лужах позади
Затопленных мелодий,
Что вставил вал, и заводи
Машину половодья.

Какой в нее мне вставить вал?
Весна моя, не сетуй.
Печали час твоей совпал
С преображеньем света.
Струитесь, черные ручьи.
Родимые, струитесь.
Примите в заводи свои
Околицы строительств.
Их марева – как облака
Зарей неторопливой.
Как август, жаркие века
Скопили их наплывы.

В краях заката стоял лед.
И по воде, оттаяв,
Гнездом сполоснутым плывет
Усадьба без хозяев.
Прощальных слез не осуша
И плакав вечер целый,
Уходит с Запада душа,
Ей нечего там делать.

Она уходит, как весной
Лимонной желтизною
Закатной заводи лесной
Пускаются в ночное.
Она уходит в перегной
Потопа, как при Ное,
И ей не боязно одной
Бездонною весной.

Пред нею край, где в поясной
Поклон не вгонят стона,
Из сердца девушки сенной
Не вырежут фестона.

Пред ней заря, пред ней и мной
Зарей желто-лимонной –
Простор, затопленный весной,
Весной, весной бездонной.

И так как с малых детских лет
Я ранен женской долей,
И след поэта – только след
Ее путей, не боле,
И так как я лишь ей задет
И ей у нас раздолье,
То весь я рад сойти на нет
В революционной воле.

О том ведь и веков рассказ,
Как, с красотой не справясь,
Пошли топтать не осмотрясь
Ее живую завязь.
А в жизни красоты как раз
И крылась жизнь красавиц.
Но их дурманил лоботряс
И развивал мерзавец.

Венец творенья не потряс
Участвующих и погряз
Во тьме утаек и прикрас.
Отсюда наша ревность в нас
И наша месть и зависть.

1932

Наранних поездах

Излетних записок

Друзьям в Тифлисе

1

«Не чувствую красот
В Крыму и на Ривьере,
Люблю речной осот,
Чертополоху верю».

Бесславить бедный Юг
Считает пошлость долгом,
Он ей, как роем мух,
Засижен и оболган.

А между тем и тут
Сырую прелесть мира
Не вынесли на суд
Для нашего блезира.

2

Как кочегар, на бак
Поднявшись, отдыхает, –
Так по ночам табак
В грядках благоухает.

С земли гелиотроп
Передает свой запах
Рассолу флотских роб,
Развешанных на трапах.

В совхозе садовод
Ворочается чаще,
Глаза на небосвод
Из шалаша тараща.

Ночь в звездах, стих норд-ост,
И жерди палисадин
Моргают сквозь нарост
Зрчками виноградин.

Левкой и Млечный Путь
Одною лейкой полит.
И близостью чуть-чуть
Цветам глаза мозолит.

3

Счастли#769;в, кто целиком,
Без тени чужеродья,
Всем детством с бедняком,
Всей кровию в народе.

Я в ряд их не попал,
Но и не ради форса
С шеренгой прихлебал
В родню чужую втерся.

Отчизна с малых лет
Влекла к такому гимну,
Что небу дела нет –
Была ль любовь взаимна.

Народ, как дом без кром,
И мы не замечаем,
Что этот свод шатром,

Как воздух, нескончаем.

Он – чащи глубина,
Где кем-то в детстве раннем
Давались имена
Событьям и созданьям.

Ты без него ничто.
Он, как свое изделие,
Кладет под долото
Твои мечты и цели.

Чье сердце не рвалось
Ответного отдачей,
Когда он шел насквозь
Как знающий и зрячий?

Внося в инвентари
Наследий хлам досужий,
Он нами изнутри
Нас освещал снаружи.

Он выжег фетиши,
Чтоб тем светлей и чище
По образу души
Возвесть векам жилище.

4

Дымились, встав от сна,
Пространства за Навтлугом,
Познанья новизна
Была к моим услугам.

Откинув лучший план,
Я ехал с волокитой,
Дорога на Беслан
Была грозой размыта.

Откос пути размяк,
И вспухшая Арагва
Неслась, сорвав башмак
С болтающейся дратвой.

Я видел поутру
С моста за старой мытней
Взбешенную Куру
С машиной стенобитной.

5

За прошлого порог

Не вносят произвола.
Давайте с первых строк
Обнимемся, Паоло!

Ни разу властью схем
Я близких не обидел,
В те дни вы были всем,
Что я любил и видел.

Входили ль мы в квартал
Оружья, кож и сёдел,
Везде ваш дух витал
И мною верховодил.

Уступами террас
Из вьющихся глициний
Я мерил ваш рассказ
И слушал, рот разиня.

Не зная ваших строф,
Но полюбив источник,
Я понимал без слов
Ваш будущий подстрочник.

Лето 1936

6

Я видел, чем Тифлис
Удержан по отко са м.
Я видел даль и близь
Кругом под абрикосом.

Он был во весь отвес,
Как книга с фронтисписом,
На языке чудес
Кистями слив исписан.

По склонам цвел анис,
И, высясь пирамидой,
Смотрели сверху вниз
Сады горы Давида.

Я видел блеск светца
Меж кадок с олеандром,
И видел ночь: чтеца
За старым фолиантом.

7

Я помню грязный двор.
Внизу был винный погреб,

А из чердачных створ
Виднелся гор апокриф.

Собьются тучи в ком,
Глазами не осилишь,
А через них гуськом
Бредет толпа страшилищ.

В колодках облаков,
Протягивая шляпы,
Обозы ледников
Тащились по этапу.

Однако иногда
Пред комнатами дома
Кавказская гряда
Вставала по-другому.

На окна и балкон,
Где жарились оладьи,
Смотрел весь южный склон
В серебряном окладе.

Перила галерей
Прохватывало как бы
Морозом алтарей,
Пылавших за Арагвой.

Там реял дух земли,
Остановивший время,
Которым мы, вдали,
Так грезили в богеме.

Объятья протянув
Из вьюги многогодней,
Стучался в вечность туф
Руками преисподней.

8

Меня б не тронул рай
На вольном ветерочке.
Иным мне дорог край
Родившихся в сорочке.

Живут и у озер
Слепые и глухие,
У этих – фантазер
Стал пятою стихией.

Убогие арбы
И хижины без прясел

Он меткостью стрельбы
И шуткою украсил.

Когда во весь свой рост
Встает хребта громада,
Его застольный тост –
Венец ее наряда.

Лето 1936

9

Чернее вечера,
Заливистее ливни,
И песни овчара
С ночами заунывной.

В горах, средь табуна,
Холодной ночью лунной
Встречаешь чабана.
Он – как дольмен валунный.

Он – повесть ближних сел.
Поди, что хочешь, вызнай.
Он кнут ременный сплел
Из лиц, имен и жизней.

Он может наугад
В любую даль зарыться,
Он сам – восстанье дат,
Как пятый год гурийца.

Колхозы не вопрос
Для старика. Неужто
Рассудком не дорос
До нас двойник Вахушта?

Он знает: нет того,
Чтоб в единеньи силы
Народа торжество
В пути остановило.

10

Немолчный плеск солей.
Скалистое ущелье.
Стволы густых елей.
Садовый стол под елью.

На свежем шашлыке
Дыханье водопада,
Он тут невдалеке

На оглушение саду.

На хлебе и жарком
Угар его обвала,
Как пламя кувырком
Упавшего шандала.

От говора ключей,
Сочащихся из скважин,
Тускнеет блеск свечей, –
Так этот воздух влажен.

Они висят во мгле
Сученой ниткой книзу,
Их шум прибит к скале,
Как канделябр к карнизу.

11

Еловый бурелом,
Обрыв тропы овечьей.
Нас много за столом,
Приборы, звезды, свечи.

Как пылкий дифирамб,
Всё затмевая оптом,
Огнем садовых ламп
Тицьян Табидзе обдан.

Сейчас он речь начнет
И мыслью – на прицеле.
Он слово почерпнет
Из этого ущелья.

Он курит, подперев
Рукою подбородок,
Он строг, как барельеф,
И чист, как самородок.

Он плотен, он шатен,
Он смертен, и однако
Таким, как он, Роден
Изобразил Бальзака.

Он в глыбе поселен,
Чтоб в тысяче градаций
Из каменных пелен
Всё явственней рождаться.

Свой непомерный дар
Едва, как свечку, тепля,
Он – пира перегар

В рассветном сером пепле.

12

На Грузии не счесть
Одѣж и оболочек.
На свете розы есть.
Я лепесткам не счетчик.

О роза, с синевой
Из радуг и алмазин,
Тягучий роспуск твой,
Как сна течение, связан.

На трубочке чуть свет
Следы ночной примерки.
Ты ярче всех ракет
В садовом фейерверке.

Чуть зной коснется губ,
Ты вся уже в эфире,
Зачатъя пышный клуб,
Как пава, расфуфыря.

Но лето на кону,
И ты, не медля часу,
Роняешь всю копну
Обмякшего атласа.

Переделкино

Сосны

В траве, меж диких бальзаминов,
Ромашек и лесных купав,
Лежим мы, руки запрокинув
И к небу головы задрав.

Трава на просеке сосновой
Непроходима и густа.
Мы переглянемся – и снова
Меняем позы и места.

И вот, бессмертные на время,
Мы к лику сосен причтены
И от болей и эпидемий
И смерти освобождены.

С намеренным однообразием,
Как мазь, густая синева

Ложится зайчиками наземь
И пачкает нам рукава.

Мы делим отдых краснолесья,
Под копошенье мураша
Сосновую снотворной смесью
Лимона с ладаном дыша.

И так неистовы на синем
Разбеги огненных стволов,
И мы так долго рук не вынем
Из-под заломленных голов,

И столько широты во взоре,
И так покорно всё извне,
Что где-то за стволами море
Мерещится всё время мне.

Там волны выше этих веток,
И, сваливаясь с валуна,
Обрушивают град креветок
Со взбаламученного дна.

А вечерами за буксиром
На пробках тянется заря
И отливает рыбьим жиром
И мглистой дымкой янтаря.

Смеркается, и постепенно
Луна хоронит все следы
Под белой магиею пены
И черной магией воды.

А волны всё шумней и выше,
И публика на поплавке
Толпится у столба с афишей,
Не различимой вдалеке.

1941

Ложная тревога

Корыта и ушаты,
Нескладица с утра;
Дождливые закаты,
Сырые вечера,

Проглоченные слезы
Во вздохах темноты,
И зовы паровоза
С шестнадцатой версты.

И ранние потемки
В саду и на дворе,
И мелкие поломки,
И всё как в сентябре.

А днем простор осенний
Пронизывает вой
Тоскою голошенья
С погоста за рекой.

Когда рыданье вдовье
Относит за бугор,
Я с нею всею кровью
И вижу смерть в упор.

Я вижу из передней
В окно, как всякий год,
Своей поры последней
Отсроченный приход.

Пути себе расчистив,
На жизнь мою с холма
Сквозь желтый ужас листьев
Уст а ви лась зима.

1941

Зазимки

Открыли дверь, и в кухню паром
Вкатился воздух со двора,
И всё мгновенно стало старым,
Как в детстве в те же вечера.

Сухая, тихая погода.
На улице, шагах в пяти,
Стоит, стыдясь, зима у входа
И не решается войти.

Зима, и всё опять впервые.
В седые дали ноября
Уходят ветлы, как слепые
Без палки и поводыря.

Во льду река и мерзлый тальник,
А поперек, на голый лед,
Как зеркало на подзеркальник,
Поставлен черный небосвод.

Пред ним стоит на перекрестке,

Который полузанесло,
Береза со звездой в прическе
И смотрится в его стекло.

Она подозревает втайне,
Что чудесами в решетке
Полна зима на даче крайней,
Как у нее на высоте.

1944

Иней

Глухая пора листопада.
Последних гусей косяки.
Расстраиваться не надо:
У страха глаза велики.

Пусть ветер, рябину заняв,
Пугает ее перед сном.
Порядок творенья обманчив,
Как сказка с хорошим концом.

Ты завтра очнешься от спячки
И, выйдя на зимнюю гладь,
Опять за углом водокачки
Как вкопанный будешь стоять.

Опять эти белые мухи,
И крыши, и святочный дед,
И трубы, и лес лопухий
Шутом маскарадным одет.

Всё обледенело с размаху
В папахе до самых бровей
И крадущейся росомарой
Подсматривает с ветвей.

Ты дальше идешь с недоверьем.
Тропинка ныряет в овраг.
Здесь иней сводчатый терем,
Решетчатый тес на дверях.

За снежной густой занавеской
Какой-то сторожки стена,
Дорога, и край перелеска,
И новая чаща видна.

Торжественное затишье,
Оправленное в резьбу,
Похоже на четверостишье

О спящей царевне в гробу.

И белому мертвому царству,
Бросавшему мысленно в дрожь,
Я тихо шепчу: «Благодарствуй,
Ты больше, чем просят, даешь».

1941

Город

Зима на кухне, пенье петьки,
Метели, вымерзшая клеть
Нам могут хуже горькой редьки
В конце концов осточертеть.

Из чащи к дому нет прохода,
Кругом сугробы, смерть и сон,
И кажется, не время года,
А гибель и конец времен.

Со скользких лестниц лед не сколот,
Колодец кольцами свело.
Каким магнитом в этот холод
Нас тянет в город и тепло!

Меж тем как, не преувелича,
Зимой в деревне нет житья,
Исполнен город безразличья
К несовершенствам бытия.

Он создал тысячи диковин
И может не бояться стуж.
Он сам, как призраки, духовен
Всею тьмой перебивавших душ.

Во всяком случае, поленьям
На станционном тупике
Он кажется таким виденьем
В ночном горящем далеке.

Я тоже чтил его подростком.
Его надменность льстила мне.
Он жизнь веков считал наброском,
Лежавшим до него вчерне.

Он звезды переобезьянил
Вечерней выставкою благ
И даже место неба занял
В моих ребяческих мечтах.

1942

Вальс счертовщиной

Только заслышу польку вдали,
Кажется, вижу в замочную скважину:
Лампы задули, сдвинули стулья,
Пчелками кверху порх фитили,
Масок и ряженных движется улей.
Это за щелкой елку зажгли.

Великолепие выше сил
Туши, и сепии, и белил,
Синих, пунцовых и золотых
Львов и танцоров, львиц и франтих.
Реянье блузок, пенье дверей,
Рев карапузов, смех матерей,
Финики, книги, игры, нуга,
Иглы, ковриги, скачки, бега.

В этой зловещей сладкой тайге
Люди и вещи на равной ноге.
Этого бора вкусный цукат
К шапок разбору рвут нарасхват.
Душно от лакомств. Елка в поту
Клеем и лаком пьет темноту.
Всё разметала, всем истекла,
Вся из металла и из стекла.
Искрится сало, брызжет смола
Звездами в залу и зеркала
И догорает дотла. Мгла.
Мало-помалу толпою усталой
Гости выходят из-за стола.

Шали, и боты, и башлыки.
Вечно куда-нибудь их занестишь!
Ставни, ворота и дверь на крюки.
В верхнюю комнату форточку настезь.
Улицы зимней синий испуг.
Время под третьими петухами.

И возникающий в форточной раме
Дух сквозняка, задувающий пламя,
Свечка за свечкой явственно вслух:
Фук. Фук. Фук. Фук.

1941

Вальс сослезой

Как я люблю ее в первые дни
Только что из лесу или с метели!
Ветки неловкости не одолели.
Нитки ленивые, без суетни
Медленно переливая на теле,
Виснут серебряною канителью.
Пень под глухой пеленой простыни.

Озолотите ее, осчастливьте, –
И не смигнет, но стыдливая скромница
В фиолетовых лиловой и синей финифти
Вам до скончания века запомнится.
Как я люблю ее в первые дни,
Всю в паутине или в тени!

Только в примерке звезды и флаги,
И в бонбоньерки не клали малаги.
Свечки не свечки, даже они
Штифтики грима, а не огни.
Это волнующаяся актриса
С самыми близкими в день бенефиса.
Как я люблю ее в первые дни
Перед кулисами в кучке родни!

Яблоне – яблоки, елочке – шишки.
Только не этой. Эта в покое.
Эта совсем не такого покроя.
Это – отмеченная избранница.
Вечер ее вековечно протянется.
Этой нимало не страшно пословицы.
Ей небывалая участь готовится:
В золоте яблок, как к небу пророк,
Огненной гостьей взмыть в потолок.

Как я люблю ее в первые дни,
Когда о елке толки одни!

1941

Наранних поездах

Я под Москвою эту зиму,
Но в стужу, снег и буревал
Всегда, когда необходимо,
По делу в городе бывал.

Я выходил в такое время,
Когда на улице ни зги,
И рассыпал лесною темью
Свои скрипучие шаги.

Навстречу мне на переезде
Вставали ветлы пустыря.
Надмирно высились созвездья
В холодной яме января.

Обыкновенно у задворок
Меня старался перегнать
Почтовый или номер сорок,
А я шел на шесть двадцать пять.

Вдруг света хитрые морщины
Сбирались щупальцами в круг.
Прожектор несся всей машиной
На оглушенный виадук.

В горячей духоте вагона
Я отдавался целиком
Порыву слабости врожденной
И всосанному с молоком.

Сквозь прошлого перипетии
И годы войн и нищеты
Я молча узнавал России
Неповторимые черты.

Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя.
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.

В них не было следов холопства,
Которые кладет нужда,
И новости и неудобства
Они несли как господа.

Рассевшись кучей, как в повозке,
Во всем разнообразьи поз,
Читали дети и подростки,
Как заведенные, взасос.

Москва встречала нас во мраке,
Переходившем в серебро,
И, покидая свет двоякий,
Мы выходили из метро.

Потомство тискалось к перилам
И обдавало на ходу
Черемуховым свежим мылом
И пряниками на меду.

Опять весна

Поезд ушел. Насыпь черна.
Где я дорогу впотьмах раздобуду?
Неузнаваемая сторона,
Хоть я и сутки только отсюда.
Замер на шпалах лязг чугуна.
Вдруг – что за новая, право, причуда:
Сутолка, кумушек пересуды.
Что их попутал за сатана?

Где я обрывки этих речей
Слышал уж как-то порой прошлогодней?
Ах, это сызнова, верно, сегодня
Вышел из рощи ночью ручей.
Это, как в прежние времена,
Сдвинула льдины и вздулась запруда.
Это поистине новое чудо,
Это, как прежде, снова весна.

Это она, это она,
Это ее чародейство и диво,
Это ее телогрейка за ивой,
Плечи, косынка, стан и спина.
Это Снегурка у края обрыва.
Это о ней из оврага со дна
Льется без умолку бред торопливый
Полубезумного болтуна.

Это пред ней, заливая преграды,
Тонет в чаду водяном быстрина,
Лампой висячего водопада
К круче с шипеньем пригвождена.
Это, зубами стуча от простуды,
Льется чрез край ледяная струя
В пруд и из пруда в другую посуду.
Речь половодья – бред бытия.

1941

Дрозды

На захолустном полустанке
Обеденная тишина.
Безжизненно поют овсянки
В кустарнике у полотна.

Бескрайный, жаркий, как желанье,
Прямой проселочный простор.
Лиловый лес на заднем плане,

Седого облака вихор.

Лесной дорогою деревья
Заигрывают с пристяжной.
По углубленьям на корчевье
Фиалки, снег и перегной.

Наверное, из этих впадин
И пьют дрозды, когда взамен
Раззванивают слухи за день
Огнем и льдом своих колен.

Вот долгий слог, а вот короткий,
Вот жаркий, вот холодный душ.
Вот что выделяют глоткой,
Луженной лоском этих луж.

У них на кочках свой поселок,
Подглядыванье из-за штор,
Шушуканье в углах светелок
И целодневный таратор.

По их распахнутым покоем
Загадки в гласности снуют.
У них часы с дремучим боем,
Им ветви четверти поют.

Таков притон дроздов тенистый.
Они в неубранном бору
Живут, как жить должны артисты,
Я тоже с них пример беру.

1941

Стихи о войне

Страшная сказка

Все переменится вокруг.
Отстроится столица.
Детей разбуженных испуг
Вовеки не простится.

Не сможет позабыться страх,
Изборождавший лица.
Сторицей должен будет враг
За это поплатиться.

Запомнится его обстрел.
Сполна зачтется время,

Когда он делал, что хотел,
Как Ирод в Вифлееме.

Настанет новый, лучший век.
Исчезнут очевидцы.
Мученья маленьких калек
Не смогут позабыться.

1941

Бобыль

Грустно в нашем саду.
Он день ото дня краше.
В нем и в этом году
Жить бы полною чашей.

Но обитель свою
Разлюбил обитатель.
Он отправил семью,
И в краю неприятель.

И один, без жены,
Он весь день у соседей,
Точно с их стороны
Ждет вестей о победе.

А повадится в сад
И на пункт ополченский,
Так глядит на закат
В направленьи к Смоленску.

Там в вечерней красе
Мимо Вязьмы и Гжатска
Протянулось шоссе
Пятитонкой солдатской.

Он еще не старик
И укор молодежи,
А его дробовик
Лет на двадцать моложе.

Июль 1941

Застава

Садясь, как куры на насест,
Зарей заглядывают тени
Под вечереющий подъезд,
На кухню, в коридор и сени.

Приезжий видит у крыльца
Велосипед и две винтовки
И поправляет деревца
В пучке воздушной маскировки.

Он знает: этот мирный вид –
В обман вводящий пережиток.
Его попутчиц ослепит
Огонь восьми ночных зениток.

Деревья окружают блиндаж.
Войдут две женщины, робея,
И спросят, наш или не наш,
Ловя ворчанье из траншеи.

Украдкой, ежась, как в мороз,
Вернутся горожанки к дому
И позабудут бомбовоз
При зареве с аэродрома.

Они увидят, как патруль,
Меж тем как пламя кровель светит,
Крестом трассирующих пуль
Ночную нечисть в небе метит.

И вдруг взорвется небосвод,
И, догорая над поселком,
Чадящей плашкой упадет
Налетчик, сшибленный осколком.

1941

Смелость

Безымянные герои
Осажденных городов,
Я вас в сердце сердца скрою,
Ваша доблесть выше слов.

В круглосуточном обстреле,
Слыша смерти пережат,
Вы векам в глаза смотрели
С пригородных баррикад.

Вы ложились на дороге
И у взрытой колеи
Спрашивали о подмоге
И не слышно ль, где свои.

А потом, жуя краюху,

По истерзанным полям
Шли вы, не теряя духа,
К обгорелым флигелям.

Вы брались рукой умелой –
Не для лести и хвалы,
А с холодным знаньем дела –
За ружейные стволы.

И не только жажда мщенья,
Но спокойный глаз стрелка,
Как картонные мишени,
Пробивал врагу бока.

Между тем слепое что-то,
Опьяняя и кружа,
Увлекало вас к пролету
Из глухого блиндажа.

Там в неистовстве наитья
Пела буря с двух сторон.
Ветер вам свистел в прикрытье:
Ты от пуль заморожен.

И тогда, чужие миру,
Не причислены к живым,
Вы являлись к командиру
С предложеньем боевым.

Вам казалось – все пустое!
Лучше, выиграв, уйти,
Чем бесславно сгнить в застое
Или скиснуть взаперти.

Так рождался победитель:
Вас над пропастью голов
Подвиг уносил в обитель
Громовержцев и орлов.

1941

Старый парк

Мальчик маленький в кровати,
Бури озверелый рев.
Каркающих стай девятки
Разлетаются с дерев.

Раненому врач в халате
Промывал вчерашний шов.
Вдруг больной узнал в палате

Друга детства, дом отцов.

Вновь он в этом старом парке.
Заморозки по утрам,
И когда кладут припарки,
Плачут стекла первых рам.

Голос нынешнего века
И виденья той поры
Уживаются с опекой
Терпеливой медсестры.

По палате ходят люди.
Слышно хлопанье дверей.
Глухо ухают орудья
Заозерных батарей.

Солнце низкое садится.
Вот оно в затон впилося
И оттуда длинной спицей
Протыкает даль насквозь.

И минуты две оттуда
В выбоины на дворе
Льются волны изумруда,
Как в волшебном фонаре.

Зверской боли крепнут схватки,
Крепнет ветер, озверев,
И летят грачей девятки,
Черные девятки трэф.

Вихрь качает липы, скрючив,
Буря гнет их на корню,
И больной под стоны сучьев
Забывает про ступню.

Парк преданьями состарен.
Здесь стоял Наполеон,
И славянофил Самарин
Послужил и погребен.

Здесь потомок декабриста,
Правнук русских героинь,
Бил ворон из монтекристо
И одолевал латынь.

Если только хватит силы,
Он, как дед, энтузиаст,
Прадеда-славянофила
Пересмотрит и издаст.

Сам же он запишет пьесу,
Вдохновенную войной, –
Под немолчный ропот леса,
Лёжа, думает больной.

Там он жизни небывалой
Невообразимый ход
Языком провинциала
В строй и ясность приведет.

1941

Зима приближается

Зима приближается. Сызнова
Какой-нибудь угол медвежий
По прихоти неба капризного
Исчезнет в грязи непроезжей.

Домишки в озерах очутятся.
Над ними закурятся трубы.
В холодных объятьях распутицы
Сойдутся к огню жизнелюбы.

Обитатели севера строгого,
Накрытые небом, как крышей,
На вас, захолустные логова,
Написано: «Сим победиши».

Люблю вас, далекие пристани
В провинции или деревне.
Чем книга чернее и ли#769;станней,
Тем прелесть ее задушевней.

Обозы тяжелые двигая,
Раскинувши нив алфавиты,
Россия волшебною книгою
Как бы на середке открыта.

И вдруг она пишется заново
Ближайшею первой метелью,
Вся в росчерках полоза санного
И белая, как рукоделье.

Октябрь серебристо-ореховый.
Блеск заморозков оловянный.
Осенние сумерки Чехова,
Чайковского и Левитана.

Октябрь 1943

Памяти Марины Цветаевой

Хмуρο тянется день непогожий.
Безутешно струятся ручьи
По крыльцу перед дверью прихожей
И в открытые окна мои.

За оградою вдоль по дороге
Затопляет общественный сад.
Развалившись, как звери в берлоге,
Облака в беспорядке лежат.

Мне в ненастьи мерещится книга
О земле и ее красоте.
Я рисую лесную шишигу
Для тебя на заглавном листе.

Ах, Марина, давно уже время,
Да и труд не такой уж ахти,
Твой заброшенный прах в реквию;ме
Из Елабуги перенести.

Торжество твоего переноса
Я задумывал в прошлом году
Над снегами пустынного плеса,
Где зимуют баркасы во льду.

* * *

Мне так же трудно до сих пор
Вообразить тебя умершей,
Как скопидомкой миллионершей
Средь голодающих сестер.

Что сделать мне тебе в угоду?
Дай как-нибудь об этом весть.
В молчаньи твоего ухода
Упрек невысказанный есть.

Всегда загадочны утраты.
В бесплодных розысках в ответ
Я мучаюсь без результата:
У смерти очертаний нет.

Тут всё – полуслова и тени,
Обмолвки и самообман,
И только верой в воскресенье
Какой-то указатель дан.

Зима – как пышные поминки:
Наружу выйти из жилья,

Прибавить к сумеркам коринки,
Облить вином – вот и кутья.

Пред домом яблоня в сугробе.
И город в снежной пелене –
Твое огромное надгробье,
Как целый год казалось мне.

Лицом повернутая к Богу,
Ты тянешься к нему с земли,
Как в дни, когда тебе итога
Еще на ней не подвели.

1943

Зарево

Вступление

1

Нас время балует победами,
И вещи каждую минуту
Все сказочнее и неведомей
В зеленом зареве салюта.

Все смотрят, как ракета, падая,
Ударится о мостовую,
За холостую канонадою
Припоминая боевую.

На улице светло, как в храмине,
И вид ее неузнаваем.
Мы от толпы в ракетном пламени
Горящих глаз не отрываем.

2

В пути из армии, нечаянно
На это зарево наехав,
Встречает кто-нибудь окраину
В блистании своих успехов.

Он сходит у опушки рощицы,
Где в черном кружеве, узорясь,
Ночное зарево полощется
Сквозь веток реденькую прорезь.

И он сухой листвою шествует
На пункт поверочно-контрольный
Узнать, какую новость чествуют
Зарницами первопрестольной.

Там называют операцию,
Которой он и сам участник,
И он столбом иллюминации
Пленяется, как третьеклассник.

3

И вдруг его машина портится,
Опять с педалями нет сладу.
Ругаясь, как казак на Хортице,
Он ходит, чтоб унять досаду.

И он отходит к ветлам, стелющим
Вдоль по#769; лугу холсты тумана,
И остается перед зрелищем,
Прикованный красой нежданной.

Болотной непроглядной гущею
Чернеют заросли заречья,
И город, яркий, как грядущее,
Вздывается из тьмы навстречу.

4

Он думает: «Я в нем изведаю,
Что и не снилось мне доселе,
Что я купил в крови победою
И видел в смотровые щели.

Мы на словах не остановимся,
Но, точно в сновиденьи вещем,
Еще привольнее отстроимся
И лучше прежнего заблещем».

Пока мечтами горделивыми
Он залетает в край бессонный,
Его протяжно, с перерывами,
Зовет с дороги рев клаксона.

Глава первая

1

В искатели благополучия
Писатель в старину не метил.
Его герой болел падучею,
Горел и был страданьем светел.

Мне думается, не прикрашивай
Мы самых безобидных мыслей,
Писали б, с позволенья вашего,
И мы, как Хемингуэй и Пристли.

Я тьму бумаги перепачкаю
И пропасть краски перемажу,
Покамест доберусь расkachкою
До истинного персонажа.

Зато без всякой аллегории
Он – зарево в моем заглавьи,
Стрелок, как в песнях Черногории,
И служит в младшем комсоставе.

2

Все было громко, неожиданно,
И спор горяч, и чувства пылки,
И все замолкло, все раскидано.
Супруги спят. Блестят бутылки.

С ней вышел кто-то в куртке хромовой.
Она смутилась: «Ты, Володя?
Я только выпущу знакомого».
– А дети где? – «На огороде,

Я их тащу домой, – противятся».
– Кого ты это принимала?
«Делец. Приятель сослуживицы.
Достал мне соды и крахмалу.

Да, подвигам твоим пред родиной
Здесь все наперечет дивятся.
Все говорят: звезда Володина
Уже не будет затмеваться.

Особенно с губою заячьей
Пристал как банный лист поганый:
– Вы заживете припеваючи...»
– Повесь мне полотенце в ванну.

3

Ничем душа не озадачена
Его дрожайшей половины.
Набит нехитрой всякой всячиной,
Как прежде, ум ее невинный.

Обыкновенно на помадится,
Табак, цыганщина и гости.
Как ляпка, тяжкая нескладица,
И дети бедные в коросте.

А он не вор и не пропойца,
Был ранен, захватил трофеи...

И он, раздевшись, жадно моется
И мылит голову и шею.

4

Ах это своеволие Катино!
Когда ни вспомнишь, перепалка
Из-за какой-нибудь пошлятины.
Уйти – детей несчастных жалко.

Детей несчастных и племянницу.
Остаться – обстановка давит.
Но если с ней он и расстанется,
Детей в беде он не оставит.

Он надыхался смертью, порохом,
Борьбой, опасностями, риском,
И стал чужой мышинным шорохам
И треснувшим горшкам и мискам.

Он не изменит жизни воина,
Бесстрашью братии бродячей,
Лесам, стоянке неустроенной,
Боям, поступкам наудачу!

А горизонты с перспективами!
А новизна народной роли!
А вдаль летящее прорывами
И победившее раздолье!

А час, пробивший пред неметчиной,
И внятно – за морем и дома
Всем человечеством замеченный
Час векового перелома!

Ай время! Ай да мы! Подите-ка,
Считали: рохли, разгильдяи.
Да это ж сон, а не политика!
Вот вам и рохли. Поздравляю.

Большое море взбаламучено!
И видя, что белье закапал,
Он все не попадает в брючину
И, крикнув, ставит ногу на пол.

5

«Дай мне уснуть. Не разговаривай.
Нельзя ли, право, понормальней».
Он видит сон. Лесное зарево
С горы заглядывает в спальню.

Он спит, и зубы сжаты в скрежете.
Он стонет. У него диалог
С какой-то придорожной нежитью.
Его двойник смешон и жалок.

«Вам не до нас, такому соколу.
В честь вас пускают фейерверки.
Хоть я все время терся около,
Нас не видать, мы недомерки.

Не пью и табаку не нюхаю,
Но, выпив на поминках тети,
Ползу домой чуть-чуть под мухую.
Прошу простить. Не подвезете?

Над рощей буквы трехаршинные
Зовут к далеким идеалам.
Вам что, вы со своей машиною,
А пехтурую, пешедралом?

За полосатой перекладиной,
Где предъявляются бумаги,
Прогалина и дачка дядина.
Свой огород, грибы в овраге.

Мой дядя жертва беззакония,
Как все порядочные люди.
В лесу их целая колония,
А в чем ошибка правосудия?

У нас ни ведер, ни учебников,
А плохи прачки, педагоги.
С нас спрашивают, как с волшебников,
А разве служащие – боги?»

«Да, боги, боги, слякоть клейкая,
Да, либо боги, либо плесень.
Не пользуйся своей лазейкою,
Не пой мне больше старых песен.

Нытьем меня свои пресытили,
Ужасное однообразье.
Пройди при жизни в победители
И волю ей диктуй в приказе.

Вертясь, как бес перед заутреней,
Перед душою сердобольной,
Ты подменял мой голос внутренний.
Я больше не хочу. Довольно».

«Володя, ты покрыт испариной.
Ты стонешь. У тебя удушье?»
– Во сне мне новое подарено,
И это к лучшему, Катюша.

Давай не будем больше ссориться
И вспомним, если в стенах этих
Оно когда-нибудь повторится,
О нашем будущем и детях. –

Из кухни вид. Оконце узкое
За занавескою в оборках,
И ходики, и утро русское
На русских городских задворках.

И золотая червоточина
На листьях осени горбатой,
И угол, бомбой развороченный,
Где лазали его ребята.

Октябрь 1943

Смерть сапера

Мы время по часам заметили
И кверху поползли по склону.
Вот и обрыв. Мы без свидетелей
У края вражьей обороны.

Вот там она, и там, и тут она –
Везде, везде, до самой кручи.
Как паутиною опутана
Вся проволокою колючей.

Он наших мыслей не подслушивал
И не заглядывал нам в душу.
Он из конюшни вниз обрушивал
Свой бешеный огонь по Зуше.

Прожекторы, как ножки циркуля,
Лучом вонзались в коновязи.
Прямые попаданья фыркали
Фонтанами земли и грязи.

Но чем обстрел дымил багровее,
Тем равнодушнее к осколкам,
В спокойствии и хладнокровии
Работали мы тихомолком.

Со мною были люди смелые.
Я знал, что в проволочной чаше

Проходы нужные проделаю
Для битвы, завтра предстоящей.

Вдруг одного сапера ранило.
Он отползал от вражьих линий,
Привстал, и дух от боли заняло,
И он упал в густой полыни.

Он приходил в себя урывками,
Осматривался на пригорке
И щупал место под нашивками
На почерневшей гимнастерке.

И думал: глупость, оцарапали,
И он отвалит от Казани,
К жене и детям вверх к Сарапулю, –
И вновь и вновь терял сознание.

Всё в жизни может быть издержано,
Изведаны все положенья, –
Следы любви самоотверженной
Не подлежат уничтоженью.

Хоть землю грыз от боли раненый,
Но столами не выдал братьев,
Врожденной стойкости крестьянина
И в обмороке не утратив.

Его живым успели вынести.
Час продышал он через силу.
Хотя за речкой почва глинистей,
Там вырыли ему могилу.

Когда, убитые потерю,
К нему сошлись мы на прощанье,
Заговорила артиллерия
В две тысячи своих гортаней.

В часах задвигались колесики.
Проснулись рычаги и шкивы.
К проделанной покойным просеке
Шагнула армия прорыва.

Сраженье хлынуло в пробоину
И выкатилось на равнину,
Как входит море в край застроенный,
С разбега проломив плотину.

Пехота шла вперед маршрутами,
Как их располагал умерший.
Поздней немногими минутами
Противник дрогнул у Завершья.

Он оставлял снарядов штабели,
Котлы дымящегося супа,
Всё, что обозные награбили,
Палатки, ящики и трупы.

Потом дорогою завещанной
Прошло с победами всё войско.
Края расширившейся трещины
У Криворожья и Пропойска.

Мы оттого теперь у Гомеля,
Что на поляне в полнолуние
Своей души не сэкономили
В пластунском деле накануне.

Жить и сгорать у всех в обычае,
Но жизнь тогда лишь обессмертишь,
Когда ей к свету и величию
Своею жертвой путь прочертишь.

Декабрь 1943

Преследование

Мы настигали неприятеля.
Он отходил. И в те же числа,
Что мы бегущих колошматили,
Шли ливни и земля раскисла.

Когда неожиданно в коноплянике
Показывались мы ватагой,
Их танки скатывались в панике
На дно размокшего оврага.

Везде встречали нас известия,
Как, все растапывая в мире,
Командовали эти бестии,
Насилуя и дебоширя.

От боли каждый, как ужаленный,
За ними устремлялся в гнев
Через горящие развалины
И падающие деревья.

Деревья падали, и в хворосте
Лесное пламя бесновалось.
От этой сумасшедшей скорости
Все в памяти перемешалось.

Своих грехов им прятать не во что.

И мы всегда припоминали
Подобранную в поле девочку,
Которой тешились каналы.

За след руки на мертвом личике
С кольцом на пальце безымянном
Должны нам заплатить обидчики
Сторицею и чистоганом.

В неистовстве как бы молитвенном
От трупа бедного ребенка
Летели мы по рвам и рытвинам
За душегубами вдогонку.

Тянулись тучи с промежутками,
И сами, грозные, как туча,
Мы с чертовней и прибаутками
Давили гнезда их гадючьи.

1944

Разведчики

Синело небо. Было тихо.
Трещали на лугу кузнечики.
Нагнувшись, низкою гречихой
К деревне двигались разведчики.

Их было трое, откровенно
Отчаянных до молодечества,
Избавленных от пуль и плена
Молитвами в глуби отечества.

Деревня вражеским вертепом
Царила надо всей равниною.
Луга желтели курослепом,
Ромашками и пастью львиною.

Вдали был сад, деревьев купы,
Толпились немцы белобрысые,
И под окном стояли группой
Вкруг стойки с канцелярской крысою.

Всмотрясь и головы попрятав,
Разведчики, недолго думая,
Пошли садить из автоматов,
Уверенные и угрюмые.

Деревню пересуматошить
Трудов не стоило особенных.
Взвилась подстреленная лошадь,

Мелькнули мертвые в колдобинах.

И как взлетают арсеналы
По мановенью рук подрывника,
Огню разведки отвечала
Вся огневая мощь противника.

Огонь дал пищу для засечек
На наших пунктах за равниною.
За этой пищею разведчик
И полз сюда, в гнездо осиное.

Давно шел бой. Он был так долог,
Что пропадало чувство времени.
Разрывы мин из шестистволок
Забрасывали небо теменью.

Наверно, вечер. Скоро ужин.
В окопах дома щи с бараниной.
А их короткий век отслужен:
Они контужены и ранены.

Валили наземь басурмане
Зеленоглазые и карие.
Поволокли, как на аркане,
За палисадник в канцелярию.

Фуражки, морды, папиросы
И роем мухи, как к покойнику.
Вдруг первый вызванный к допросу
Шагнул к ближайшему разбойнику.

Он дал ногой в подвздошь вору
И, выхвативши автомат его,
Очистил залпами контору
От этого жулья проклятого.

Как вдруг его сразила пуля.
Их снова окружили кучею.
Два остальных рукой махнули.
Теперь им гибель неминуемая.

Вверху задвигались стропила,
Как бы в ответ их маловерию,
Над домом крышу расщепило
Снарядом нашей артиллерии.

Дом загорелся. В суматохе

Метнулись к выходу два пленника,
И вот они в чертополохе
Бегут задами по гуменнику.

По ним стреляют из-за клетки.
Момент – и не было товарища.
И в поле выбегает третий
И трет глаза рукою шарящей.

Все день еще, и даль объята
Пожаром солнца сумасшедшего.
Но он дивится не закату,
Закату удивляться нечего.

Садится солнце в курослепе,
И вот что, вот что не безделица:
В деревню входят наши цепи,
И пыль от перебежек стелется.

Без памяти, забыв раненья,
Руками на бегу работая,
Бежит он на соединенье
С победоносною пехотою.

Январь 1944

Неоглядность

Непобедимым многолетье,
Прославившимся исполать!
Раздолье жить на белом свете,
И без конца морская гладь.

И русская судьба безбрежней,
Чем может грезиться во сне,
И вечно остается прежней
При небывалой новизне.

И на одноименной грани
Ее поэтов похвала,
Историков ее преданья
И армии ее дела.

И блеск ее морского флота,
И русских сказок закрома,
И гении ее полета,
И небо, и она сама.

И вот на эту ширь раздолья
Глядят из глубины веков
Нахимов в звездном ореоле

И в медальоне – Ушаков.

Вся жизнь их – подвиг неустанный.
Они, не пожалев сердец,
Сверкают темой для романа
И дали чести образец.

Их жизнь не промелькнула мимо,
Не затерялась вдалеке.
Их след лежит неизгладимо
На времени и моряке.

Они живут свежо и пылко,
Распорядительны без слов,
И чувствуют родную жилку
В горячке гордых парусов.

На боевой морской арене
Они из дымовых завес
Стрелой бросаются в сраженье
Противнику наперерез.

Бегут в расстройстве стаи турок.
За ночью следует рассвет.
На рейде тлеет, как окурок,
Турецкий тонущий корвет.

И, все препятствия осилив,
Ширяет флагманский фрегат,
Размахом вытянутых крыльев
Уже не ведая преград.

Март 1944

Внизовьях

Илистых плавней желтый янтарь,
Блеск чернозема.
Жители чинят снасть, инвентарь,
Лодки, паромы.

В этих низовьях ночи – восторг,
Светлые зори.
Пеной по отмели шорх-шорх
Черное море.

Птица в болотах, по рекам – налим,
Уймища раков.
В том направлении берегом – Крым,
В этом – Очаков.

За Николаевом книзу – лиман.
Вдоль поднебесья
Степью на запад – зыбь и туман.
Это к Одессе.

Было ли это? Какой это стиль?
Где эти годы?
Можно ль вернуть эту жизнь, эту быль,
Эту свободу?

Ах, как скучает по пахоте плуг,
Пашня – по плугу,
Море – по Бугу, по северу – юг,
Все – друг по другу!

Миг долгожданный уже на виду,
За поворотом.
Дали предчувствуют. В этом году –
Слово за флотом.

Март 1944

Ожившая фреска

Как прежде падали снаряды.
Высокое, как в дальнем плаваньи,
Ночное небо Сталинграда
Качалось в штукатурном саване.

Земля гудела, как молебен
Об отвращеньи бомбы воющей,
Кадильницею дым и щебень
Выбрасывая из побоища.

Когда урывками, меж схваток,
Он под огнем своих проведывал,
Необъяснимый отпечаток
Привычности его преследовал.

Где мог он видеть этот ежик
Домов с бездонными проломами?
Свидетельства былых бомбежек
Казались сказочно знакомыми.

Что означала в черной раме
Четырехпалая отметина?
Кого напоминало пламя
И выломанные паркетины?

И вдруг он вспомнил детство, детство,
И монастырский сад, и грешников,

И с общиною по соседству
Свист соловьев и пересмешников.

Он мать сжимал рукой сыновней,
И от копья архистратига ли
На темной росписи часовни
В такие ямы черти прыгали.

И мальчик облакался в латы,
За мать в воображеньи ратуя,
И налетал на супостата
С такой же свастикой хвостатою.

А рядом в конном поединке
Сиял над змеем лик Георгия.
И на пруду цвели кувшинки,
И птиц безумствовали оргии.

И родина, как голос пущи,
Как зов в лесу и грохот отзыва,
Манила музыкой зовущей
И пахла почкою березовой.

О, как он вспомнил те полянки
Теперь, когда судьбы иронией
Он топчет вражеские танки
С их грозной чешуей драконьею!

Он перешел земли границы,
И будущность, как ширь небесная,
Уже бушует, а не снится,
Приблизившаяся, чудесная.

Март 1944

Победитель

Вы помните еще ту сухость в горле,
Когда, бряцая голой силой зла,
Навстречу нам горланили и перли
И осень шагом испытаний шла?

Но правота была такой оградой,
Которой уступал любой доспех.
Все воплотила участь Ленинграда.
Стеной стоял он на глазах у всех.

И вот пришло заветное мгновенье:
Он разорвал осадное кольцо.
И целый мир, столпившись в отдаленьи,
В восторге смотрит на его лицо.

Как он велик! Какой бессмертный жребий!
Как входит в цепь легенд его звено!
Все, что возможно на земле и в небе,
Им вынесено и совершено.

Январь 1944

Весна

Всё нынешней весной особое.
Живее воробьев шумиха.
Я даже выразить не пробую,
Как на душе светло и тихо.

Иначе думается, пишется,
И громкою октавой в хоре
Земной могучий голос слышится
Освобожденных территорий.

Весеннее дыхание родины
Смывает след зимы с пространства
И черные от слез обводины
С заплаканных очей славянства.

Везде трава готова вылезти,
И улицы старинной Праги
Молчат, одна другой извилистей,
Но заиграют, как овраги.

Сказанья Чехии, Моравии
И Сербии с весенней негой,
Сорвавши пелену бесправия,
Цветами выйдут из-под снега.

Все дымкой сказочной подернется,
Подобно завиткам по стенам
В боярской золоченой горнице
И на Василии Блаженном.

Мечтателю и полуночнику
Москва милей всего на свете.
Он дома, у первоисточника
Всего, чем будет цвести столетье.

Апрель 1944

Стихотворения Юрия Живаго

1.Гамлет

Гул затих. Я вышел на подмости.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю Твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, всё тонет в фарисействе.
Жизнь прожить – не поле перейти.

1946

2.Март

Солнце греет до седьмого пота,
И бушует, одурев, овраг.
Как у дюжей скотницы работа,
Дело у весны кипит в руках.

Чахнет снег и болен малокровьем
В веточках бессильно синих жил.
Но дымится жизнь в хлеву коровьем,
И здоровьем пышут зубья вил.

Эти ночи, эти дни и ночи!
Дробь капелей к середине дня,
Кровельных сосуллек худосочье,
Ручейков бессонных болтовня!

Настежь всё, конюшня и коровник.
Голуби в снегу клюют овес,
И, всего живитель и виновник, –
Пахнет свежим воздухом навоз.

1946

3.Настрасной

Еще кругом ночная мгла.
Еще так рано в мире,
Что звездам в небе нет числа,
И каждая, как день, светла,
И если бы земля могла,
Она бы Пасху проспала
Под чтение Псалтыри.

Еще кругом ночная мгла.
Такая рань на свете,
Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетье.

Еще земля голым-гола,
И ей ночами не в чем
Раскачивать колокола
И вторить с воли певчим.

И со Страстного четверга
Вплоть до Страстной субботы
Вода буравит берега
И вьет водовороты.

И лес раздет и непокрыт,
И на Страстях Христовых,
Как строй молящихся, стоит
Толпой стволов сосновых.

А в городе, на небольшом
Пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решетки.

И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград,
Колелется земли уклад:
Они хоронят Бога.

И видят свет у царских врат,
И черный плат, и свечек ряд,
Заплаканные лица –
И вдруг навстречу крестный ход
Выходит с плащаницей,
И две березы у ворот
Должны посторониться.

И шествие обходит двор
По краю тротуара,

И вносит с улицы в притвор
Весну, весенний разговор
И воздух с привкусом просфор
И вешнего угара.

И март разбрасывает снег
На паперти толпе калек,
Как будто вышел человек,
И вынес, и открыл ковчег,
И всё до нитки роздал.

И пенье длится до зари,
И, нарыдавшись в досталь,
Доходят тише изнутри
На пустыри под фонари
Псалтырь или Апостол.

Но в полночь смолкнут тварь и плоть,
Заслышав слух весенний,
Что только-только распогодь –
Смерть можно будет побороть
Усиьем воскресенья.

1946

4.Белая ночь

Мне далекое время мерещится,
Дом на стороне Петербургской.
Дочь степной небогатой помещицы,
Ты – на курсах, ты родом из Курска.

Ты – мила, у тебя есть поклонники.
Этой белою ночью мы оба,
Примостясь на твоём подоконнике,
Смотрим вниз с твоего небоскреба.

Фонари, точно бабочки газовые,
Утро тронуло первую дрожью.
То, что тихо тебе я рассказываю,
Так на спящие дали похоже!

Мы охвачены тою же самою
Оробелою верностью тайне,
Как раскинувшийся панорамною
Петербург за Невою бескрайней.

Там вдали, по дремучим урочищам,
Этой ночью весеннею белой
Соловьи славословьем грохочущим
Оглашают лесные пределы.

Ошалелое щелканье катится.
Голос маленькой птички ледящей
Пробуждает восторг и сумятицу
В глубине очарованной чащи.

В те места босоногою странницей
Пробирается ночь вдоль забора,
И за ней с подоконника тянется
След подслушанного разговора.

В отголосках беседы услышанной
По садам, огороженным тёсом,
Ветви яблонь и вишенные
Одеваются цветом белёсым.

И деревья, как призраки, белые
Высыпают толпой на дорогу,
Точно знаки прощальные делая
Белой ночи, выдавшей так много.

1953

5.Весенняя распутица

Огни заката догорали,
Распутицей в бору глухом
В далекий хутор на Урале
Тащился человек верхом.

Болтала лошадь селезенкой,
И звону шлепавших подков
Дорогой вторила вдогонку
Вода в воронках родников.

Когда же опускал поводья
И шагом ехал верховой,
Прокатывало половодье
Вблизи весь гул и грохот свой.

Смеялся кто-то, плакал кто-то,
Крошились камни о кремни,
И падали в водовороты
С корнями вырванные пни.

А на пожарище заката,
В далекой прочерни ветвей,
Как гулкий колокол набата,
Неистовствовал соловей.

Где ива вдовый свой повойник

Клонила, свесивши в овраг,
Как древний соловей-разбойник,
Свистал он на семи дубах.

Какой беде, какой зазнобе
Предназначался этот пыл?
В кого ружейной крупной дробью
Он по чащобе запустил?

Казалось, вот он выйдет лешим
С привала беглых каторжан
Навстречу конным или пешим
Заставам здешних партизан.

Земля и небо, лес и поле
Ловили этот редкий звук,
Размеренные эти доли
Безумья, боли, счастья, мук.

1953

6.Объяснение

Жизнь вернулась так же беспричинно,
Как когда-то странно прервалась.
Я на той же улице старинной,
Как тогда, в тот летний день и час.

Те же люди и заботы те же,
И пожар заката не остыл.
Как его тогда к стене Манежа
Вечер смерти наспех пригвоздил.

Женщины в дешевом затрапезе
Так же ночью топчут башмаки.
Их потом на кровельном железе
Так же распинают чердаки.

Вот одна походкою усталой
Медленно выходит на порог
И, поднявшись из полуподвала,
Переходит двор наискосок.

Я опять готовлю отговорки,
И опять всё безразлично мне.
И соседка, обогнув задворки,
Оставляет нас наедине.

* * *

Не плачь, не морщь опухших губ,

Не собирай их в складки.
Разбередишь присохший струп
Весенней лихорадки.

Сними ладонь с моей груди,
Мы провода под током.
Друг к другу вновь, того гляди,
Нас бросит ненароком.

Пройдут года, ты вступишь в брак,
Забудешь неустройства.
Быть женщиной – великий шаг,
Сводить с ума – геройство.

А я пред чудом женских рук,
Спины, и плеч, и шеи
И так с привязанностью слуг
Весь век благоговею.

Но, как ни сковывает ночь
Меня кольцом тоскливым,
Сильней на свете тяга прочь
И манит страсть к разрывам.

1947

7. ЛЕТО ВГОРОДЕ

Разговоры вполголоса,
И с поспешностью пылкой
Кверху собраны волосы
Всей копною с затылка.

Из-под гребня тяжелого
Смотрит женщина в шлеме,
Запрокинувши голову
Вместе с косами всеми.

А на улице жаркая
Ночь сулит непогоду,
И расходятся, шаркая,
По домам пешеходы.

Гром отрывистый слышится,
Отдающийся резко,
И от ветра колышется
На окне занавеска.

Наступает безмолвие,
Но по-прежнему парит,
И по-прежнему молнии
В небе шарят и шарят.

А когда светозарное
Утро знойное снова
Сушит лужи бульварные
После ливня ночного,

Смотрят хмуро по случаю
Своего недосыпа
Вековые, пахучие
Неотцветшие липы.

1953

8.Ветер

Я кончился, а ты жива.
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу.
Не каждую сосну отдельно,
А полностью все дерева
Со всею далью беспредельной,
Как парусников кузова
На глади бухты корабельной.
И это не из удалства
Или из ярости бесцельной,
А чтоб в тоске найти слова
Тебе для песни колыбельной.

1953

9.Хмель

Под ракитой, обвитой плющом,
От ненастья мы ищем защиты.
Наши плечи покрыты плащом,
Вкруг тебя мои руки обвиты.

Я ошибся. Кусты этих чащ
Не плющом перевиты, а хмелем.
Ну так лучше давай этот плащ
В ширину под собою расстелем.

1953

10.Бабье лето

Лист смородины груб и матерчат.
В доме хохот и стекла звенят,
В нем шинкуют, и квасят, и перчат,
И гвоздики кладут в маринад.

Лес забрасывает, как насмешник,
Этот шум на обрывистый склон,
Где сгоревший на солнце орешник
Словно жаром костра опален.

Здесь дорога спускается в балку,
Здесь и высохших старых коряг,
И лоскутницы осени жалко,
Всё сметающей в этот овраг.

И того, что вселенная проще,
Чем иной полагает хитрец,
Что как в воду опущена роща,
Что приходит всему свой конец.

Что глазами бессмысленно хлопать,
Когда всё пред тобой сожжено,
И осенняя белая копоть
Паутиною тянет в окно.

Ход из сада в заборе проломан
И теряется в березняке.
В доме смех и хозяйственный гомон,
Тот же гомон и смех вдалеке.

1946

11. Свадьба

Пересекши край двора,
Гости на гулянку
В дом невесты до утра
Перешли с тальянкой.

За хозяйскими дверьми
В войлочной обивке
Стихли с часу до семи
Болтовни обрывки.

А зарею, в самый сон,
Только спать и спать бы,
Вновь запел аккордеон,
Уходя со свадьбы.

И рассыпал гармонист
Снова на баяне
Плеск ладоней, блеск монист,
Шум и гам гулянья.

И опять, опять, опять

Говорок частушки
Прямо к спящим на кровать
Ворвался с пирушки.

А одна, как снег бела,
В шуме, свисте, гаме
Снова павой поплыла,
Поводя боками.

Помавая головой
И рукою правой,
В плясовой по мостовой,
Павой, павой, павой.

Вдруг задор и шум игры,
Топот хоровода,
Провалась в таргарары,
Канули, как в воду.

Просыпался шумный двор.
Деловое эхо
Вмешивалось в разговор
И раскаты смеха.

В необъятность неба, ввысь
Вихрем сизых пятен
Стаей голуби неслись,
Снявшись с голубятен.

Точно их за свадьбой вслед,
Спохватясь спросонья,
С пожеланьем многих лет
Выслали в погоню.

Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других
Как бы им в даренье.

Только свадьба, в глубь окон
Рвущаяся снизу,
Только песня, только сон,
Только голубь сизый.

1953

12. Осень

Я дал разъехаться домашним,
Все близкие давно в разброде,
И одиночеством всегдашним

Полно всё в сердце и природе.

И вот я здесь с тобой в сторожке.
В лесу безлюдно и пустынно.
Как в песне, стежки и дорожки
Позаросли наполовину.

Теперь на нас одних с печалью
Глядят бревенчатые стены.
Мы брать преград не обещали,
Мы будем гибнуть откровенно.

Мы сядем в час и встанем в третьем,
Я с книгою, ты с вышиваньем,
И на рассвете не заметим,
Как целоваться перестанем.

Еще пышной и бесшабашней
Шумите, осыпайтесь, листья,
И чашу горечи вчерашней
Сегодняшней тоской превысьте.

Привязанность, влечение, прелесть!
Рассеемся в сентябрьском шуме!
Заройся вся в осенний шелест!
Замри или ополоумей!

Ты так же сбрасываешь платье,
Как роца сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковою кистью.

Ты – благо гибельного шага,
Когда житье тошней недуга,
А корень красоты – отвага,
И это тянет нас друг к другу.

1949

13.Сказка

Встарь, во время оно,
В сказочном краю
Пробирался конный
Степью по репью.

Он спешил на сечу,
А в степной пыли
Темный лес навстречу
Вырастал вдали.

Ныло ретивое,
На сердце скребло:
Бойся водопоя,
Подтяни седло.

Не послушал конный
И во весь опор
Залетел с разгону
На лесной бугор.

Повернул с кургана,
Въехал в суходол,
Миновал поляну,
Гору перешел.

И забрел в ложбину,
И лесной тропой
Вышел на звериный
След и водопой.

И глухой к призыву
И не вняв чутью,
Свел коня с обрыва
Попойть к ручью.

У ручья пещера.
Пред пещерой – брод.
Как бы пламя серы
Озаряло вход.

И в дыму багровом,
Застилавшем взор,
Отдаленным зовом
Огласился бор.

И тогда оврагом,
Вздогнув, напрямик
Тронул конный шагом
На призывный крик.

И увидел конный,
И приник к копыю,
Голову дракона,
Хвост и чешую.

Пламенем из зева
Рассеивал он свет,
В три кольца вкруг девы
Обмотав хребет.

Туловище змея,
Как концом бича,

Поводило шеей
У ее плеча.

Той страны обычай
Пленницу-красу
Отдавал в добычу
Чудищу в лесу.

Края населенье
Хижины свои
Выкупало пеней
Этой от змеи.

Змей обвил ей руку
И оплел гортань,
Получив на муку
В жертву эту дань.

Посмотрел с мольбою
Всадник в высь небес
И копье для боя
Взял наперевес.

Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.

Конный в шлеме сбитом,
Сшибленный в бою.
Верный конь, копытом
Топчущий змею.

Конь и труп дракона
Рядом на песке.
В обмороке конный,
Дева в столбняке.

Светел свод полдневный,
Синева нежна.
Кто она? Царевна?
Дочь земли? Княжна?

То, в избытке счастья,
Слезы в три ручья,
То душа во власти
Сна и забытья.

То возврат здоровья,
То недвижность жил
От потери крови
И упадка сил.

Но сердца их бьются.
То она, то он
Сияются очнуться
И впадают в сон.

Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.

1953

14.Август

Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою
От занавеси до дивана.

Оно покрыло жаркой охрою
Соседний лес, дома поселка,
Мою постель, подушку мокрую
И край стены за книжной полкой.

Я вспомнил, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка.
Мне снилось, что ко мне на провода
Шли по лесу вы друг за дружкой.

Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по старому,
Преображение Господне.

Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная, как знаменье,
К себе приковывает взоры.

И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,
Нагой, трепещущий ольшаник
В имбирно-красный лес кладбищенский,
Горевший, как печатный пряник.

С притихшими его вершинами
Соседствовало небо важно,
И голосами петушиными
Перекликалась даль протяжно.

В лесу казенной землемершею

Стояла смерть среди погоста,
Смотря в лицо мое умершее,
Чтоб вырыть яму мне по росту.

Был всеми ошутим физически
Спокойный голос чей-то рядом.
То прежний голос мой провидческий
Звучал, не тронутый распадом.

«Прощай, лазурь преображенная
И золото второго Спаса.
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.

Прощайте, годы безвременщины!
Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я – поле твоего сраженья.

Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство».

1953

15.ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.

Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника

На платье капал.

И всё терялось в снежной мгле,
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздыхал, как ангел, два крыла
Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

1946

16.Разлука

С порога смотрит человек,
Не узнавая дома.
Ее отъезд был как побег.
Везде следы разгрома.

Повсюду в комнате хаос.
Он меры разоренья
Не замечает из-за слез
И приступа мигрени.

В ушах с утра какой-то шум.
Он в памяти иль грезит?
И почему ему на ум
Всё мысль о море лезет?

Когда сквозь иней на окне
Не видно света божья,
Безвыходность тоски вдвойне
С пустыней моря схожа.

Она была так дорога
Ему чертой любовью,
Как морю близки берега
Всей линией прибоя.

Как затопляет камыши
Волненье после шторма,
Ушли на дно его души
Ее черты и формы.

В года мытарств, во времена
Немыслимого быта
Она волной судьбы со дна
Была к нему прибита.

Среди препятствий без числа,
Опасности минуя,
Волна несла ее, несла
И пригнала вплотную.

И вот теперь ее отъезд,
Насильственный, быть может!
Разлука их обоих съест,
Тоска с костями сгложет.

И человек глядит кругом:
Она в момент ухода
Всё вывортила вверх дном
Из ящичков комода.

Он бродит, и до темноты
Укладывает в ящик
Раскиданные лоскуты
И выкройки образчик.

И, наколовшись об шитье
С невынутой иглой,
Внезапно видит всю ее
И плачет втихомолку.

1953

17.Свидание

Засыпет снег дороги,
Завалит скаты крыш.
Пойду размять я ноги:
За дверью ты стоишь.

Одна, в пальто осеннем,
Без шляпы, без калош,
Ты борешься с волненьем
И мокрый снег жуешь.

Деревья и ограды
Уходят вдаль, во мглу.
Одна средь снегопада
Стоишь ты на углу.

Течет вода с косынки
По рукаву в обшлаг,

И каплями росинки
Сверкают в волосах.

И прядью белокурой
Озарены: лицо,
Косынка, и фигура,
И это пальтецо.

Снег на ресницах влажен,
В твоих глазах тоска,
И весь твой облик слажен
Из одного куска.

Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему.

И в нем навек засело
Смиренье этих черт,
И оттого нет дела,
Что свет жестокосерд.

И оттого двоится
Вся эта ночь в снегу,
И провести границы
Меж нас я не могу.

Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?

1949

18.Рождественская звезда

Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было Младенцу в вертепе
На склоне холма.

Его согревало дыхание вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи
И зернышек проса,
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звезд.

А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей площадки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горящей скирдой
Соломы и сена
Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.

Растущее зарево рдело над ней
И значило что-то,
И три звездочета
Спешили на зов небывалых огней.

За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей
Другого, шажками спускались с горы.

И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали всё пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Всё будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Всё великолепье цветной мишуры...
...Всё злей и свирепей дул ветер из степи...
...Все яблоки, все золотые шары.

Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,
Могли хорошо разглядеть пастухи.

– Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, –
Сказали они, запахнув кожухи.

От шарканья по снегу сделалось жарко.

По яркой поляне листьями слюды
Вели за хибарку босые следы.
На эти следы, как на пламя огарка,
Ворчали овчарки при свете звезды.

Морозная ночь походила на сказку,
И кто-то с навьюженной снежной гряды
Всё время незримо входил в их ряды.
Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску, и ждали беды.

По той же дороге, чрез эту же местность
Шло несколько ангелов в гуще толпы.
Незримыми делала их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.

У камня толпилась орава народу.
Светало. Означились кедров стволы.
– А кто вы такие? – спросила Мария.
– Мы племя пастушье и неба послы,
Пришли вознести вам обоим хвалы.
– Всем вместе нельзя. Подождите у входа.

Средь серой, как пепел, предутренней мглы
Топтались погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы,
У выдолбленной водопойной колоды
Ревели верблюды, лягались ослы.

Светало. Рассвет, как пылинки золы,
Последние звезды сметал с небосвода.
И только волхов из несметного сброда
Впустила Мария в отверстие скалы.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках, немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на Деву,
Как гостя, смотрела звезда Рождества.

1947

19. Рассвет

Ты значил всё в моей судьбе.

Потом пришла война, разруха,
И долго-долго о Тебе
Ни слуху не было, ни духу.

И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я Твой Завет
И как от обморока ожил.

Мне к людям хочется, в толпу,
В их утреннее оживленье.
Я всё готов разнести в щепу
И всех поставить на колени.

И я по лестнице бегу,
Как будто выхожу впервые
На эти улицы в снегу
И вымершие мостовые.

Везде встают, огни, уют,
Пьют чай, торопятся к трамваям.
В течение нескольких минут
Вид города неузнаваем.

В воротах вьюга вяжет сеть
Из густо падающих хлопьев,
И, чтобы вовремя поспеть,
Все мчатся недоев-недопив.

Я чувствую за них за всех,
Как будто побывал в их шкуре,
Я таю сам, как тает снег,
Я сам, как утро, брови хмурю.

Со мною люди без имен,
Деревья, дети, домоседы.
Я ими всеми побежден,
И только в том моя победа.

1947

20. Чудо

Он шел из Вифании в Ерусалим,
Заранее грустью предчувствий томим.

Колючий кустарник на круче был выжжен,
Над хижинкой ближней не двигался дым,
Был воздух горяч и камыш неподвижен,
И Мертвого моря покой недвижим.

И в горечи, спорившей с горечью моря,
Он шел с небольшою толпой облаков
По пыльной дороге на чье-то подворье,
Шел в город на сборище учеников.

И так углубился Он в мысли свои,
Что поле в уныньи запахло полынью.
Всё стихло. Один Он стоял посредине,
А местность лежала пластом в забвении.
Всё перемешалось: теплынь и пустыня,
И ящерицы, и ключи, и ручьи.

Смоковница высилась невдалеке,
Совсем без плодов, только ветки да листья.
И Он ей сказал: «Для какой ты корысти?
Какая мне радость в твоём столбняке?

Я жажду и алчу, а ты – пустоцвет,
И встреча с тобой безотрадней гранита.
О, как ты обидна и недаровита!
Останься такой до скончания лет».

По дереву дрожь осужденья прошла,
Как молнии искра по громоотводу.
Смоковницу испепелило дотла.

Найдись в это время минута свободы
У листьев, ветвей, и корней, и ствола,
Успели б вмешаться законы природы.
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Когда мы в смятении, тогда средь разброда
Оно настигает мгновенно, врасплох.

1947

21. Земля

В московские особняки
Врывается весна нахрапом.

Выпархивает моль за шкапом
И ползает по летним шляпам,
И прячут шубы в сундуки.

По деревянным антресолям
Стоят цветочные горшки
С левкоем и желтофиолем,
И дышат комнаты привольем,
И пахнут пылью чердаки.

И улица запанибрата

С оконницей подслеповатой,
И белой ночи и закату
Не разминуться у реки.

И можно слышать в коридоре,
Что происходит на просторе,
О чем в случайном разговоре
С капелью говорит апрель.
Он знает тысячи историй
Про человеческое горе,
И по заборам стынут зори
И тянут эту канитель.

И та же смесь огня и жути
На воле и в жилом уюте,
И всюду воздух сам не свой.
И тех же верб сквозные прутья,
И тех же белых почек вздутья
И на окне, и на распутье,
На улице и в мастерской.

Зачем же плачет даль в тумане
И горько пахнет перегной?
На то ведь и мое призванье,
Чтоб не скучали расстоянья,
Чтобы за городскою гранью
Земле не тосковать одной.

Для этого весною ранней
Со мною сходятся друзья,
И наши вечера – прощанья,
Пирушки наши – завещанья,
Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия.

1947

22. Дурные дни

Когда на последней неделе
Входил Он в Иерусалим,
Осанны навстречу гремели,
Бежали с ветвями за ним.

А дни всё грозней и суровой.
Любовью не тронуть сердец.
Презрительно сдвинуты брови,
И вот послесловье, конец.

Свинцовою тяжестью всею
Легли на дворы небеса.

Искали улик фарисеи,
Юля перед ним, как лиса.

И темными силами храма
Он отдан подонкам на суд,
И с пылкостью тою же самой,
Как славили прежде, клянут.

Толпа на соседнем участке
Заглядывала из ворот,
Толклись в ожиданьи развязки
И тыкались взад и вперед.

И полз шепоток по соседству
И слухи со многих сторон.
И бегство в Египет, и детство
Уже вспоминались, как сон.

Припомнился скат величавый
В пустыне, и та крутизна,
С которой всемирной державой
Его соблазнял сатана.

И брачное пиршество в Кане,
И чуду дивящийся стол,
И море, которым в тумане
Он к лодке, как посуху, шел.

И сборище бедных в лачуге,
И спуск со свечою в подвал,
Где вдруг она гасла в испуге,
Когда воскресенный вставал.

1949

23.Магдалина

1

Чуть ночь, мой демон тут как тут,
За прошлое моя расплата.
Придут и сердце мне сосут
Воспоминания разврата,
Когда, раба мужских причуд,
Была я душой бесноватой
И улицей был мой приют.

Осталось несколько минут,
И тишь наступит гробовая.
Но, раньше чем они пройдут,
Я жизнь свою, дойдя до края,

Как алавастровый сосуд,
Перед Тобою разбиваю.

О, где бы я теперь была,
Учитель мой и мой Спаситель,
Когда б ночами у стола
Меня бы вечность не ждала,
Как новый, в сети ремесла
Мной завлеченный посетитель.

Но объясни, что значит грех,
И смерть, и ад, и пламень серный,
Когда я на глазах у всех
С тобой, как с деревом побег,
Срослась в своей тоске безмерной.

Когда Твои стопы, Иисус,
Оперши о свои колени,
Я, может, обнимать учусь
Креста четырехгранный брус
И, чувств лишаясь, к телу рвусь,
Тебя готовя к погребенью.

1949

24.Магдалина

2

У людей пред праздником уборка.
В стороне от этой толчеи
Обмываю миром из ведерка
Я стопы пречистые Твои.

Шарю и не нахожу сандалий.
Ничего не вижу из-за слез.
На глаза мне пеленой упали
Пряди распустившихся волос.

Ноги я Твои в подол уперла,
Их слезами облила, Иисус,
Ниткой бус их обмотала с горла,
В волосы зарыла, как в бурнус.

Будущее вижу так подробно,
Словно Ты его остановил.
Я сейчас предсказывать способна
Вещим ясновиденьем сивилл.

Завтра упадет завеса в храме,
Мы в кружок собьемся в стороне,

И земля качнется под ногами,
Может быть, из жалости ко мне.

Перестроятся ряды конвоя,
И начнется всадников разъезд.
Словно в бурю смерч, над головою
Будет к небу рваться этот крест.

Брошусь на землю у ног распятия,
Обомру и закушу уста.
Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста.

Для кого на свете столько шири,
Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и роц?

Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до воскресенья дорасту.

1949

25.Гефсиманский сад

Мерцаньем звезд далеких безразлично
Был поворот дороги озарен.
Дорога шла вокруг горы Масличной,
Внизу под нею протекал Кедрон.

Лужайка обрывалась с половины.
За нею начинался Млечный Путь.
Седые серебристые маслины
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.

В конце был чей-то сад, надел земельный.
Учеников оставив за стеной,
Он им сказал: «Душа скорбит смертельно,
Побудьте здесь и бодрствуйте со мной».

Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь как смертные, как мы.

Ночная даль теперь казалась краем
Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом Он молил Отца.

Смягчив молитвой смертную истому,
Он вышел за ограду. На земле
Ученики, осиленные дремой,
Валялись в придорожном ковыле.

Он разбудил их: «Вас Господь сподобил
Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт.
Час Сына Человеческого пробил.
Он в руки грешников себя предаст».

И лишь сказал, неведомо откуда
Толпа рабов и скопище бродяг,
Огни, мечи и впереди – Иуда
С предательским лобзаньем на устах.

Петр дал мечом отпор головорезам
И ухо одному из них отсек.
Но слышит: «Спор нельзя решать железом,
Вложи свой меч на место, человек.

Неужто тьмы крылатых легионов
Отец не снарядил бы мне сюда?
И волоска тогда на мне не тронув,
Враги рассеялись бы без следа.

Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь.

Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывут из темноты».

1949

Когда разгуляется

*Un livre est un grand cimetière; sur la plupart
des tombes on ne peut plus lire les noms effacés.*

«Вовсем мне хочется дойти...»

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

Всё время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.

О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.

О беззаконьях, о грехах,
Бегах, погонях,
Нечаянностях впопыхах,
Локтях, ладонях.

Я вывел бы ее закон,
Ее начало,
И повторял ее имен
Инициалы.

Я б разбивал стихи, как сад.
Всей дрожью жилок
Цвели бы липы в них подряд,
Гуськом, в затылок.

В стихи б я внес дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты.

Так некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, роц, могил
В свои этюды.

¹² **Книга** – это большое кладбище, где на многих плитах уж не прочесть стершиеся имена. Марсель Пруст (фр.).

Достигнутого торжества
Игра и мука –
Натянутая тетива
Тугого лука.

1956

«БЫТЬ знаменитым некрасиво...»

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Цель творчества – самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.

И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но поражения от победы
Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

1956

Душа

Душа моя, печальница

О всех в кругу моем,
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем.

Тела их бальзамируя,
Им посвящая стих,
Рыдающею лирою
Оплакивая их,

Ты в наше время шкурное
За совесть и за страх
Стоишь могильной урной,
Покоющей их прах.

Их муки совокупные
Тебя склонили ниц.
Ты пахнешь пылью трупною
Мертвецких и гробниц.

Душа моя, скудельница,
Всё, виденное здесь,
Перемолов, как мельница,
Ты превратила в смесь.

И дальше перемалывай
Всё бывшее со мной,
Как сорок лет без малого,
В погостный перегонной.

1956

Ева

Стоят деревья у воды,
И полдень с берега крутого
Закинул облака в пруды,
Как переметы рыболова.

Как невод, тонет небосвод,
И в это небо, точно в сети,
Толпа купальщиков плывет –
Мужчины, женщины и дети.

Пять-шесть купальщиц в лозняке
Выходят на берег без шума
И выжимают на песке
Свои купальные костюмы.

И наподобие ужей
Ползут и вьются кольца пряжи,
Как будто искуситель-змея

Скрывался в мокром трикотаже.

О женщина, твой вид и взгляд
Ничуть меня в тупик не ставят.
Ты вся – как горла перехват,
Когда его волнение сдавит.

Ты создана как бы вчерне,
Как строчка из другого цикла,
Как будто не шутя во сне
Из моего ребра возникла.

И тотчас вырвалась из рук
И выскользнула из объятий,
Сама – смятение и испуг
И сердца мужеского сжатие.

1956

Безназвания

Недотрога, тихоня в быту,
Ты сейчас вся огонь, вся горение.
Дай запрю я твою красоту
В темном тереме стихотворения.

Посмотри, как преображена
Огневой кожурой абажура
Конура, край стены, край окна,
Наши тени и наши фигуры.

Ты с ногами сидишь на тахте,
Под себя их поджав по-турецки.
Все равно, на свету, в темноте,
Ты всегда рассуждаешь по-детски.

Замечтавшись, ты нижешь на шнур
Горсть на платье скатившихся бусин.
Слишком грустен твой вид, чересчур
Разговор твой прямой безыскусен.

Пошло слово любовь, ты права.
Я придумаю кличку иную.
Для тебя я весь мир, все слова,
Если хочешь, переименую.

Разве хмурый твой вид передаст
Чувств твоих рудоносную залежь,
Сердца тайно светящийся пласт?
Ну так что же глаза ты печалишь?

1956

Перемена

Я льнул когда-то к беднякам
Не из возвышенного взгляда,
А потому, что только там
Шла жизнь без помпы и парада.

Хотя я с барством был знаком
И с публикою деликатной,
Я дармоедству был врагом
И другом голи перекаточной.

И я старался дружбу свести
С людьми из трудового званья,
За что и делали мне честь,
Меня считая тоже рванью.

Был осязателен без фраз,
Вещественен, телесен, весок
Уклад подвалов без прикрас
И чердаков без занавесок.

И я испортился с тех пор,
Как времени коснулась порча,
И горе возвели в позор,
Мещан и оптимистов корча.

Всем тем, кому я доверял,
Я с давних пор уже не верен.
Я человека потерял
С тех пор, как всеми он потерян...

1956

Весна в лесу

Отчаянные холода
Задерживают таянье.
Весна позднее, чем всегда,
Но и зато нечаянней.

С утра амуруется петух,
И нет прохода курице.
Лицом поворотясь на юг,
Сосна на солнце жмурится.

Хотя и парит и печет,
Еще недели целые

Дороги сковывает лед
Корою почернелою.

В лесу еловый мусор, хлам,
И снегом всё завалено.
Водою с солнцем пополам
Затоплены проталины.

И небо в тучах как в пуху
Над грязной вешней жижицей
Застряло в сучьях наверху
И от жары не движется.

1956

Июль

По дому бродит привиденье.
Весь день шаги над головой.
На чердаке мелькают тени.
По дому бродит домовой.

Везде болтается некстати,
Мешается во все дела,
В халате крадется к кровати,
Срывает скатерть со стола.

Ног у порога не обтерши,
Вбегают в вихре сквозняка
И с занавеской, как с танцоршей,
Взвивается до потолка.

Кто этот баловник-невежа
И этот призрак и двойник?
Да это наш жилец приезжий,
Наш летний дачник-отпускник.

На весь его недолгий роздых
Мы целый дом ему сдаем.
Июль с грозой, июльский воздух
Снял комнаты у нас внаем.

Июль, таскающий в одеже
Пух одуванчиков, лопух,
Июль, домой сквозь окна вхожий,
Всё громко говорящий вслух.

Степной нечесаный растреп,
Пропахший липой и травой,
Ботвой и запахом укропа,
Июльский воздух луговой.

1956

Погрибы

Плетемся по грибы.
Шоссе. Леса. Канавы.
Дорожные столбы
Налево и направо.

С широкого шоссе
Идем во тьму лесную.
По щиколку в росе
Плутаем врассыпную.

А солнце под кусты
На грузди и волнушки
Через дебри темноты
Бросает свет с опушки.

Гриб прячется за пень,
На пень садится птица.
Нам вехой – наша тень,
Чтобы с пути не сбиться.

Но время в сентябре
Отмерено так куце:
Едва ль до нас заре
Сквозь чащу дотянуться.

Набиты кузовки,
Наполнены корзины.
Одни боровики
У доброй половины.

Уходим. За спиной –
Стеною лес недвижный,
Где день в красе земной
Сгорел скоропостижно.

1956

Тишина

Пронизан солнцем лес насквозь.
Лучи стоят столбами пыли.
Отсюда, уверяют, лось
Выходит на дорог развилье.

В лесу молчанье, тишина,

Как будто жизнь в глухой лощине
Не солнцем заморожена,
А по совсем другой причине.

Действительно, невдалеке
Средь заросли стоит лосиха.
Пред ней деревья в столбняке.
Вот отчего в лесу так тихо.

Лосиха ест лесной подсед,
Хрустя обгладывает молодь.
Задевши за ее хребет,
Болтается на ветке желудь.

Иван-да-марья, зверобой,
Ромашка, иван-чай, татарник,
Опутанные ворожкой,
Глазеют, обступив кустарник.

Во всем лесу один ручей
В овраге, полном благозвучья,
Твердит то тише, то звончей
Про этот небывалый случай.

Звеня на всю лесную падь
И оглашая лесосеку,
Он что-то хочет рассказать
Почти словами человека.

1957

Стога

Снуют пунцовые стрекозы,
Летят шмели во все концы.
Колхозницы смеются с возу,
Проходят с косами косцы.

Пока хорошая погода,
Гребут и ворошат корма
И складывают до захода
В стога, величиной с дома.

Стог принимает на закате
Вид постоянного двора,
Где ночь ложится на полати
В накошенные клевера.

К утру, когда потемки реже,
Стог высится, как сеновал,
В котором месяц мимоезжий,

Зарывшись, переночевал.

Чем свет телега за телегой
Лугами катятся впотьмах.
Наставший день встает с ночлега
С трухой и сеном в волосах.

А в полдень вновь синеют выси,
Опять стога, как облака,
Опять, как водка на анисе,
Земля душиста и крепка.

1957

Липовая аллея

Ворота с полукруглой аркой.
Холмы, луга, леса, овсы.
В ограде – мрак и холод парка
И дом невиданной красы.

Там липы в несколько обхватов
Справляют в сумраке аллей,
Вершины друг за друга спрятав,
Свой двухсотлетний юбилей.

Они смыкают сверху своды.
Внизу – лужайка и цветник,
Который правильные ходы
Пересекают напрямик.

Под липами, как в подземельи,
Ни светлой точки на песке,
И лишь отверстием туннеля
Светлеет выход вдалеке.

Но вот приходят дни цветенья,
И липы в поясе оград
Разбрасывают вместе с тенью
Неотразимый аромат.

Гуляющие в летних шляпах
Вдыхают, кто бы ни прошел,
Непостижимый этот запах,
Доступный пониманью пчел.

Он составляет в эти миги,
Когда он за сердце берет.
Предмет и содержание книги,
А парк и клумбы – переплет.

На старом дереве громоздком,
Завешивая сверху дом,
Горят, закапанные воском,
Цветы, зажженные дождем.

1957

Когда разгуляется

Большое озеро как блюдо.
За ним – скопление облаков,
Нагроможденных белой грудой
Суровых горных ледников.

По мере смены освещения
И лес меняет колорит.
То весь горит, то черной тенью
Насевшей копоты покрыт.

Когда в исходе дней дождливых
Меж туч проглянет синева,
Как небо празднично в прорывах,
Как торжества полна трава!

Стихает ветер, даль расчистив.
Разлито солнце по земле.
Просвечивает зелень листьев,
Как живопись в цветном стекле.

В церковной росписи оконниц
Так в вечность смотрят изнутри
В мерцающих венцах бессонниц
Святые, схимники, цари.

Как будто внутренность собора –
Простор земли, и чрез окно
Далекий отголосок хора
Мне слышать иногда дано.

Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
В слезах от счастья, отстою.

1956

Хлеб

Ты выводы копишь полвека,
Но их не заносишь в тетрадь,

И если ты сам не калека,
То должен был что-то понять.

Ты понял блаженство занятий,
Удачи закон и секрет.
Ты понял, что праздность – проклятье
И счастья без подвига нет.

Что ждет алтарей, откровений,
Героев и богатырей
Дремучее царство растений,
Могучее царство зверей.

Что первым таким откровеньем
Остался в сцепленьи судеб
Прапращуром в дар поколениям
Вращенный столетьями хлеб.

Что поле во ржи и пшенице
Не только зовет к молотье,
Но некогда эту страницу
Твой предок вписал о тебе.

Что это и есть его слово,
Его небывалый почин
Средь круговращенья земного,
Рождений, скорбей и кончин.

1956

Осенний лес

Осенний лес заволосател.
В нем тень, и сон, и тишина.
Ни белка, ни сова, ни дятел
Его не будят ото сна.

И солнце, по тропам осенним
В него входя на склоне дня,
Кругом косится с опасеньем,
Не скрыта ли в нем западня.

В нем топи, кочки и осины,
И мхи, и заросли ольхи,
И где-то за лесной трясинной
Поют в селенье петухи.

Петух свой окрик прогорланит,
И вот он вновь надолго смолк,
Как будто он раздумьем занят,
Какой в запевке этой толк.

Но где-то в дальнем закоулке
Прокукарекает сосед.
Как часовой из караулки,
Петух откликнется в ответ.

Он отзовется словно эхо,
И вот, за петухом петух,
Отметят глоткою, как вехой,
Восток и запад, север, юг.

По петушиной перекличке
Расступится к опушке лес
И вновь увидит с непривычки
Поля, и даль, и синь небес.

1956

Заморозки

Холодным утром солнце в дымке
Стоит столбом огня в дыму.
Я тоже, как на скверном снимке,
Совсем неотличим ему.

Пока оно из мглы не выйдет,
Блеснув за прудом на лугу,
Меня деревья плохо видят
На отдаленном берегу.

Прохожий узнается позже,
Чем он пройдет, нырнув в туман.
Мороз покрыт гусиной кожей,
И воздух лжив, как слой румян.

Идешь по инею дорожки,
Как по настилу из рогож.
Земле дышать ботвой картошки
И стынуть больше невтерпеж.

1956

Ночной ветер

Стихли песни и пьяный галдеж,
Завтра надо вставать спозаранок.
В избах гаснут огни. Молодежь
Разошлась по домам с погулянок.

Только ветер бредет наугад

Всё по той же заросшей тропинке,
По которой с толпою ребят
Восвояси он шел с вечеринки.

Он за дверью поник головой.
Он не любит ночных катавасий.
Он бы кончить хотел мировой
В споре с ночью свои несогласья.

Перед ними – заборы садов.
Оба спорят, не могут уняться.
За разборами их неладов
На дороге деревья толпятся.

1957

Золотая осень

Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озера.

Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.

Липы обруч золотой –
Как венец на новобрачной.
Лик березы – под фатой
Подвенечной и прозрачной.

Погребенная земля
Под листвой в канавах, ямах.
В желтых кленах флигеля,
Словно в золоченых рамах.

Где деревья в сентябре
На заре стоят попарно,
И закат на их коре
Оставляет след янтарный.

Где нельзя ступить в овраг,
Чтоб не стало всем известно:
Так бушует, что ни шаг,
Под ногами лист древесный.

Где звучит в конце аллеи
Эхо у крутого спуска
И зари вишневый клей

Застывает в виде сгустка.

Осень. Древний уголок
Старых книг, одежд, оружия,
Где сокровищ каталог
Перелистывает стужа.

1956

Ненастье

Дождь дороги заболотил.
Ветер режет их стекло.
Он платок срывает с ветел
И стрижет их наголо.

Листья шлепаются оземь.
Едут люди с похорон.
Потный трактор пашет озимь
В восемь дисковых борон.

Черной вспаханною зябью
Листья залетают в пруд
И по возмущенной ряби
Кораблями в ряд плывут.

Брызжет дождик через сито.
Крепнет холода напор.
Точно всё стыдом покрыто,
Точно в осени – позор.

Точно срам и поруганье
В стаях листьев и ворон,
И дожде, и урагане,
Хлещущих со всех сторон.

1956

Трава икамни

С действительностью иллюзию,
С растительностью гранит
Так сблизили Польша и Грузия,
Что это обеих роднит.

Как будто весной в Благовещенье
Им милости возвещены
Землей – в каждой каменной трещине,
Травой – из-под каждой стены.

И те обещанья подхвачены
Природой, трудами их рук,
Искусствами, всякою всячиной,
Развитьем ремесл и наук.

Побегами жизни и зелени,
Развалинами старины,
Землей в каждой мелкой расселине,
Травой из-под каждой стены.

Следами усердья и праздности,
Беседую, бьющей ключом,
Речами про разные разности,
Пустой болтовней ни о чем.

Пшеницей в полях выше сажени,
Сходящейся над головой,
Землей – в каждой каменной скважине,
Травой – в половице кривой.

Душистой густой повиликою,
Столетиями, вверх по кусту,
Обвившей бывшее великое
И будущего красоту.

Сиренью, двойными оттенками
Лиловых и белых кистей,
Пестреющей между простенками
Осыпавшихся крепостей.

Где люди в родстве со стихиями,
Стихии в соседстве с людьми,
Земля – в каждом каменном выеме,
Трава – перед всеми дверьми.

Где с гордою лирой Мицкевича
Таинственно слился язык
Грузинских цариц и царевичей
Из девичьих и базилик.

1956

Ночь

Идет без проволочек
И тает ночь, пока
Над спящим миром летчик
Уходит в облака.

Он потонул в тумане,
Исчез в его струе,

Став крестиком на ткани
И меткой на белье.

Под ним ночные бары,
Чужие города,
Казармы, кочегары,
Вокзалы, поезда.

Всем корпусом на тучу
Ложится тень крыла.
Блуждают, сбившись в кучу,
Небесные тела.

И страшным, страшным креном
К другим каким-нибудь
Неведомым вселенным
Повернут Млечный Путь.

В пространствах беспредельных
Горят материки.
В подвалах и котельных
Не спят истопники.

В Париже из-под крыши
Венера или Марс
Глядят, какой в афише
Объявлен новый фарс.

Кому-нибудь не спится
В прекрасном далеке
На крытом черепицей
Старинном чердаке.

Он смотрит на планету,
Как будто небосвод
Относится к предмету
Его ночных забот.

Не спи, не спи, работай,
Не прерывай труда,
Не спи, борись с дремотой,
Как летчик, как звезда.

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты – вечности заложник
У времени в плену.

1956

Ветер
(Четыре отрывка оБлоке)

«Кому быть живым и хвалимым...»

Кому быть живым и хвалимым,
Кто должен быть мертв и хулим, –
Известно у нас подхалимам
Влиятельным только одним.

Не знал бы никто, может статья,
В почете ли Пушкин иль нет,
Без докторских их диссертаций,
На всё проливающих свет.

Но Блок, слава богу, иная,
Иная, по счастью, статья.
Он к нам не спускался с Синая,
Нас не принимал в сыновья.

Прославленный не по программе
И вечный вне школ и систем,
Он не изготовлен руками
И нам не навязан никем.

«Онветрен, какветер. Какветер...»

Он ветрен, как ветер. Как ветер,
Шумевший в имени в дни,
Как там еще Филька-фалетер¹³
Скакал в голове шестерни.

И жил еще дед-якобинец,
Кристалльной души радикал,
От коего ни на мизинец
И ветреник внук не отстал.

Тот ветер, проникший под ребра
И в душу, в течение лет
Недоброю славой и доброй
Помянут в стихах и воспет.

Тот ветер повсюду. Он – дома,
В деревьях, в деревне, в дожде,
В поэзии третьего тома,
В «Двенадцати», в смерти, везде.

«Широко, широко, широко...»

¹³ Фореитор в старом народном произношении.

Широко, широко, широко
Раскинулись речка и луг.
Пора сенокоса, толока,
Страда, суматоха вокруг,
Косцам у речного протока
Заглядываться недосуг.

Косьба разохотила Блока,
Схватил косовище барчук.
Ежа чуть не ранил с наскоку,
Косой полоснул двух гадюк.

Но он не доделал урока.
Упреки: лентяй, лежебока!
О детство! О школы морока!
О песни пололок и слуг!

А к вечеру тучи с востока.
Обложены север и юг.
И ветер жестокий не к сроку
Влетает и режется вдруг
О косы косцов, об осоку,
Резучую гущу излук.

О детство! О школы морока!
О песни пололок и слуг!
Широко, широко, широко
Раскинулись речка и луг.

«Зловещ горизонт ивнезапен...»

Зловещ горизонт и внезапен,
И в кровоподтеках заря,
Как след незаживших царапин
И кровь на ногах косаря.

Нет счета небесным порезам,
Предвестникам бурь и невзгод,
И пахнет водой и железом
И ржавчиной воздух болот.

В лесу, на дороге, в овраге,
В деревне или на селе
На тучах такие зигзаги
Сулят непогоду земле.

Когда ж над большою столицей
Край неба так ржав и багрян,

С державою что-то случится,
Постигнет страну ураган.

Блок на небе видел разводы.
Ему предвещал небосклон
Большую грозу, непогоду,
Великую бурю, циклон.

Блок ждал этой бури и встряски.
Ее огневые штрихи
Боязнью и жаждой развязки
Легли в его жизнь и стихи.

1956

Дорога

То насыпью, то глубию лога,
То по прямой за поворот
Змеится лентою дорога
Безостановочно вперед.

По всем законам перспективы
За придорожные поля
Бегут мощные извивы,
Не слякотя и не пыля.

Вот путь перебежал плотину,
На пруд не посмотревши вбок,
Который выводок утиный
Переплывает поперек.

Вперед то под гору, то в гору
Бежит прямая магистраль,
Как разве только жизни впору
Всё время рваться вверх и вдаль.

Чрез тысячи фантасмагорий,
И местности и времена,
Через преграды и подспорья
Несется к цели и она.

А цель ее в гостях и дома –
Все пережить и всё пройти,
Как оживляют даль изломы
Мимойдущего пути.

1957

Вбольнице

Стояли как перед витриной,
Почти запрудив тротуар.
Носилки втолкнули в машину.
В кабину вскочил санитар.

И скорая помощь, минуя
Панели, подъезды, зевак,
Сумятицу улиц ночную,
Нырнула огнями во мрак.

Милиция, улицы, лица
Мелькали в свету фонаря.
Покачивалась фельдшерица
Со склянкою нашатыря.

Шел дождь, и в приемном покое
Уныло шумел водосток,
Меж тем как строка за строкою
Марали опросный листок.

Его положили у входа.
Всё в корпусе было полно.
Разило парами иода,
И с улицы дуло в окно.

Окно обнимало квадратом
Часть сада и неба клочок.
К палатам, полам и халатам
Присматривался новичок.

Как вдруг из расспросов сиделки,
Покачивавшей головой,
Он понял, что из переделки
Едва ли он выйдет живой.

Тогда он взглянул благодарно
В окно, за которым стена
Была точно искрой пожарной
Из города озарена.

Там в зареве рдела застава,
И, в отсвете города, клен
Отвешивал веткой корявой
Больному прощальный поклон.

«О Господи, как совершенны
Дела Твои, – думал больной, –
Постели, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной.

Я принял снотворного дозу

И плачу, платок теребя.
О Боже, волнения слезы
Мешают мне видеть Тебя.

Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным Твоим сознать.

Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук Твоих жар.
Ты держишь меня, как изделие,
И прячешь, как перстень, в футляр».

1956

Музыка

Дом высился, как каланча.
По тесной лестнице угольной
Несли рояль два силача,
Как колокол на колокольню.

Они тащили вверх рояль
Над ширью городского моря,
Как с заповедями скрижаль
На каменное плоскогорье.

И вот в гостиной инструмент,
И город в свисте, шуме, гаме,
Как под водой на дне легенд,
Внизу остался под ногами.

Жилец шестого этажа
На землю посмотрел с балкона,
Как бы ее в руках держа
И ею властвуя законно.

Вернувшись внутрь, он заиграл
Не чью-нибудь чужую пьесу,
Но собственную мысль, хорал,
Гуденье мессы, шелест леса.

Раскат импровизаций нес
Ночь, пламя, гром пожарных бочек,
Бульвар под ливнем, стук колес,
Жизнь улиц, участь одиночек.

Так ночью, при свечах, взамен
Былой наивности нехитрой,
Свой сон записывал Шопен

На черной выпилке пюпитра.

Или, опередивши мир
На поколения четыре,
По крышам городских квартир
Грозой гремел полет валькирий.

Или консерваторский зал
При адском грохоте и треске
До слез Чайковский потрясал
Судьбой Паоло и Франчески.

1956

После перерыва

Три месяца тому назад,
Лишь только первые метели
На наш незащищенный сад
С остервененьем налетели,

Прикинул тотчас я в уме,
Что я укроюсь, как затворник,
И что стихами о зиме
Пополню свой весенний сборник.

Но навалились пустяки
Горой, как снежные завалы.
Зима, расчетам вопреки,
Наполовину миновала.

Тогда я понял, почему
Она во время снегопада,
Снежинками пронзая тьму,
Заглядывала в дом из сада.

Она шептала мне: «Спеши!» –
Губами, белыми от стужи,
А я чинил карандаши,
Отшучиваясь неуклюже.

Пока под лампой у стола
Я медлил зимним утром ранним,
Зима явилась и ушла
Непонятым напоминаньем.

1957

Первый снег

Снаружи вьюга мечется
И всё заносит в лоск.
Засыпана газетчица,
И заметен киоск.

На нашей долгой бытности
Казалось нам не раз,
Что снег идет из скрытности
И для отвода глаз.

Утайщик нераскаянный, –
Под белой бахромой
Как часто нас с окраины
Он разводил домой!

Всё в белых хлопьях скроется,
Залепит снегом взор, –
На ощупь, как пропойца,
Проходит тень во двор.

Движения поспешные:
Наверное, опять
Кому-то что-то грешное
Приходится скрывать.

1956

Снег идет

Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплет.

Снег идет, и всё в смятеньи,
Всё пускается в полет, –
Черной лестницы ступени,
Перекрестка поворот.

Снег идет, снег идет,
Словно падают не хлопья,
А в заплатанном салопе
Сходит наземь небосвод.

Словно с видом чудака,
С верхней лестничной площадки,
Крадучись, играя в прятки,
Сходит небо с чердака.

Потому что жизнь не ждет.
Не оглянешься – и святки.

Только промежутки краткий,
Смотришь, там и новый год.

Снег идет, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,

Может быть, проходит время?
Может быть, за годом год
Следуют, как снег идет,
Или как слова в поэме?

Снег идет, снег идет,
Снег идет, и всё в смятении:
Убеленный пешеход,
Удивленные растенья,
Перекрестка поворот.

1957

Следы наснегу

Полями наискось к закату
Уходят девушек следы.
Они их валенками вмяты
От слободы до слободы.

А вот ребенок жался к мамке.
Луч солнца, как лимонный морс,
Затек во впадины и ямки
И лужей света в льдину вмерз.

Он стынет вытекшею жижей
Яйца в разбитой скорлупе,
И синей линией лыжи
Его срезают на тропе.

Луна скользит блином в сметане,
Всё время скатываясь вбок.
За ней бегут вдогонку сани,
Но не дается колобок.

1958

После вьюги

После утомившейся вьюги
Наступает в округе покой.
Я прислушиваюсь на досуге

К голосам детворы за рекой.

Я, наверно, неправ, я ошибся,
Я ослеп, я лишился ума.
Белой женщиной мертвой из гипса
Наземь падает навзничь зима.

Небо сверху любитесь лепкой
Мертвых, крепко придавленных век.
Всё в снегу: двор и каждая щепка,
И на дереве каждый побег.

Лед реки, переезд и платформа,
Лес, и рельсы, и насыпь, и ров
Отлились в безупречные формы
Без неровностей и без углов.

Ночью, сном не успевши забыться,
В просветленьи вскочивши с софы,
Целый мир уложить на странице,
Уместиться в границах строфы.

Как изваяны пни и коряги
И кусты на речном берегу,
Море крыш возвести на бумаге,
Целый мир, целый город в снегу.

1957

Вакханалия

Город. Зимнее небо.
Тьма. Пролеты ворот.
У Бориса и Глеба
Свет, и служба идет.

Лбы молящихся, ризы
И старух шушуны
Свечек пламенем снизу
Слабо озарены.

А на улице вьюга
Всё смешала в одно,
И пробиться друг к другу
Никому не дано.

В завываньи бурана
Потонули: тюрьма,
Экскаваторы, краны,
Новостройки, дома,

Ключья репертуара
На афишном столбе
И деревья бульвара
В серебристой резьбе.

И великой эпохи
След на каждом шагу –
В толчее, в суматохе,
В метках шин на снегу,

В ломке взглядов – симптомах
Вековых перемен, –
В наших добрых знакомых,
В тучах мачт и антенн,

На фасадах, в костюмах,
В простоте без прикрас,
В разговорах и думах,
Умиляющих нас.

И в значеньи двояком
Жизни, бедной на взгляд,
Но великой под знаком
Понесенных утрат.

* * *

«Зимы», «зисы» и «татры»,
Сдвинув полосы фар,
Подъезжают к театру
И слепят тротуар.

Затерявшись в метели,
Перекупщики мест
Осаждают без цели
Театральный подъезд.

Все идут вереницей,
Как сквозь строй алебард,
Торопясь протесниться
На «Марию Стюарт».

Молодежь по записке
Добывает билет
И великой артистке
Шлет горячий привет.

* * *

За дверьми еще драка,
А уж средь темноты
Вырастают из мрака

Декораций холсты.

Словно выбежав с танцев
И покинув их круг,
Королева шотландцев
Появляется вдруг.

Всё в ней жизнь, всё свобода,
И в груди колотье,
И тюремные своды
Не сломили ее.

Стрекозою такую
Родила ее мать
Ранить сердце мужское,
Женской лаской пленять.

И за это, быть может,
Как огонь горяча,
Дочка голову сложит
Под рукой палача.

В юбке пепельно-сизой
Села с краю за стол.
Рампа яркая снизу
Льет ей свет на подол.

Нипочем вертихвостке
Похождений угар,
И стихи, и подмости,
И Париж, и Ронсар.

К смерти приговоренной,
Что ей пища и кров,
Рвы, форты, бастионы,
Пламя рефлекторов?

Но конец героини
До скончанья времен
Будет славой отныне
И молвой окружен.

* * *

То же бешенство риска,
Та же радость и боль
Слили роль и артистку,
И артистку и роль.

Словно буйство премьерши
Через столько веков
Помогает умершей

Убежать из оков.

Сколько надо отваги,
Чтоб играть на века,
Как играют овраги,
Как играет река,

Как играют алмазы,
Как играет вино,
Как играть без отказа
Иногда суждено.

Как игралось подростку
На народе простом
В белом платье в полоску
И с косою жгутом.

* * *

И опять мы в метели,
А она всё метет,
И в церковном приделе
Свет, и служба идет.

Где-то зимнее небо,
Проходные дворы,
И окно ширпотреба
Под горой мишуры.

Где-то пир, где-то пьянка,
Именинный кутеж.
Мехом вверх, наизнанку
Свален ворох одёж.

Двери с лестницы в сени,
Смех и мнений обмен.
Три корзины сирени.
Ледяной цикламен.

По соседству в столовой
Зелень, горы икры,
В сервировке лиловой
Семга, сельди, сыры.

И хрустенье салфеток,
И приправ острота,
И вино всех расцветок,
И всех водок сорта.

И под говор стоустый
Люстра топит в лучах
Плечи, спины и бюсты,

И сережки в ушах.

И смертельной картечи
Эти линии рта,
Этих рук бессердечье,
Этих губ доброта.

И на эти-то дива
Глядя, как маниак,
Кто-то пьет молчаливо
До рассвета коньяк.

Уж над ним межеумки
Проливают слезу.
На шестнадцатой рюмке
Ни в одном он глазу.

За собою упрочив
Право зваться немым,
Он среди женщин находчив,
Среди мужчин – нелюдим.

В третий раз разведенец
И дожив до седин,
Жизнь своих современниц
Оправдал он один.

Дар подруг и товарок
Он пустил в оборот
И вернул им в подарок
Целый мир в свой черед.

Но для первой же юбки
Он порвет повода,
И какие поступки
Совершит он тогда!

Средь гостей танцовщица
Помирает с тоски.
Он с ней рядом садится,
Это ведь двойники.

Эта тоже открыто
Может лечь на ура
Королевой без свиты
Под удар топора.

И свою королеву
Он на лестничный ход
От печей перегрева
Освежиться ведет.

Хорошо хризантеме
Стыть на стуже в цвету.
Но назад уже время –
В духоту, в тесноту.

С табаком в чайных чашках
Весь в окурках буфет.
Стол в конфетных бумажках.
Наступает рассвет.

И своей балерине,
Перетянутой так,
Точно стан на пружине,
Он шнурует башмак.

Между ними особый
Распорядок с утра,
И теперь они оба
Точно брат и сестра.

Перед нею в гостиной
Не встает он с колен.
На дела их картины
Смотрят строго со стен.

Впрочем, что им, бесстыжим,
Жалость, совесть и страх
Пред живым чернокнижьем
В их горячих руках?

Море им по колено,
И в безумьи своем
Им дороже вселенной
Миг короткий вдвоем.

* * *

Цветы ночные утром спят,
Не прошибает их поливка,
Хоть выкати на них ушат.
В ушах у них два-три обрывка
Того, что тридцать раз подряд
Пел телефонный аппарат.
Так спят цветы садовых гряд
В плену своих ночных фантазий.
Они не помнят безобразья,
Творившегося час назад.
Состав земли не знает грязи.
Всё очищает аромат,
Который льет без всякой связи
Десяток роз в стеклянной вазе.
Прошло ночное торжество.

Забыты шутки и проделки.
На кухне вымыты тарелки.
Никто не помнит ничего.

1957

Заповоротом

Насторожившись, начеку
У входа в чащу,
Щебечет птичка на суку
Легко, маняще.

Она щебечет и поет
В преддверьи бора,
Как бы оберегая вход
В лесные норы.

Под нею – сучья, бурелом,
Над нею – тучи,
В лесном овраге, за углом –
Ключи и кручи.

Нагроможденьем пней, колод
Лежит валежник.
В воде и холоде болот
Цветет подснежник.

А птичка верит, как в зарок,
В свои рулады
И не пускает на порог
Кого не надо.

* * *

За поворотом, в глубине
Лесного лога,
Готово будущее мне
Верней залога.

Его уже не втянешь в спор
И не заластишь.
Оно распахнуто, как бор,
Всё вглубь, всё настезь.

Март 1958

Всёсбылось

Дороги превратились в кашу.

Я пробираюсь в стороне.
Я с глиной лед, как тесто, квашу,
Плетусь по жидкой размазне.

Крикливо пролетает сойка
Пустующим березняком.
Как неготовая постройка,
Он высится порожняком.

Я вижу сквозь его пролеты
Всю будущую жизнь насквозь.
Всё до мельчайшей доли сотой
В ней оправдалось и сбылось.

Я в лес вхожу, и мне не к спеху.
Пластами оседает наст.
Как птице, мне ответит эхо,
Мне целый мир дорогу даст.

Среди размокшего суглинка,
Где обнажился голый грунт,
Щебечет птичка под сурдинку
С пробелом в несколько секунд.

Как музыкальную шкатулку,
Ее подслушивает лес,
Подхватывает голос гулко
И долго ждет, чтоб звук исчез.

Тогда я слышу, как верст за пять,
У дальних землемерных вех
Хрустят шаги, с деревьев капит
И шлепается снег со стрех.

Март 1958

Пахота

Что случилось с местностью всегдашней?
С земли и неба стерта грань.
Как клетки шашечницы, пашни
Раскинулись, куда ни глянь.

Пробороненные просторы
Так гладко улеглись вдали,
Как будто выровняли горы
Или равнину подмели.

И в те же дни единым духом
Деревья по краям борозд
Зазеленели первым пухом

И выпрямились во весь рост.

И ни соринки в новых кленах,
И в мире красок чище нет,
Чем цвет берез светло-зеленых
И светло-серых пашен цвет.

Май 1958

Поездка

На всех парах несется поезд,
Колеса вертит паровоз.
И лес кругом смолист и хвоист,
И склон березами порос.

И путь бежит, столбы простерши,
И треплет кудри контролерши,
И воздух делается горше
От гари, легкой на откос.

Беснуются цилиндр и поршень,
Мелькают гайки шатуна,
И тенью проплывает коршун
Вдоль рельсового полотна.

Машина испускает вздохи
В дыму, как в шапке набекрень,
А лес, как при царе Горохе,
Как в предыдущие эпохи,
Не замечая суматохи,
Стоит и дремлет по сей день.

И где-то, где-то города
Вдали маячат, как бывало,
Куда по вечерам устало
Подвозят к старому вокзалу
Новоприбывших поезда.

Туда толпою пассажиры
Текут с вокзального двора,
Путейцы, сторожа, кассиры,
Проводники, кондуктора.

Вот он со скрытностью сугубой
Ушел за улицы изгиб,
Вздымая каменные кубы
Лежащих друг на друге глыб.
Афиши, ниши, крыши, трубы,
Гостиницы, театры, клубы,
Бульвары, скверы, купы лип,

Дворы, ворота, номера,
Подъезды, лестницы, квартиры,
Где всех страстей идет игра
Во имя переделки мира.
Июль 1958

Женщины в детстве

В детстве, я как сейчас еще помню,
Высунешься, бывало, в окно,
В переулке, как в каменоломне,
Под деревьями в полдень темно.

Тротуар, мостовую, подвалы,
Церковь слева, ее купола
Тень двойных тополей покрывала
От начала стены до угла.

За калитку дорожки глухие
Уводили в запущенный сад,
И присутствие женской стихии
Облекало загадкой уклад.

Рядом к девочкам кучи знакомых
Заходили и толпы подруг,
И цветущие кисти черемух
Мыли листьями рамы фрамуг.

Или взрослые женщины в гневе,
Разбранившись без обиняков,
Вырастали в дверях, как деревья
По краям городских цветников.

Приходилось, насупившись букой,
Щебет женщин сносить словно бич,
Чтоб впоследствии страсть, как науку,
Обожанье, как подвиг, постичь.

Всем им, вскользь промелькнувшим где-либо
И пропавшим на том берегу,
Всем им, мимо прошедшим, спасибо, –
Перед ними я всеми в долгу.

Июль 1958

После грозы

Пронесшейся грозою полон воздух.
Всё ожило, всё дышит, как в раю.

Всем роспуском кистей лиловогроздых
Сирень вбирает свежести струю.

Всё живо переменою погоды.
Дождь заливает кровель желоба,
Но всё светлее неба переходы,
И высь за черной тучей голуба.

Рука художника еще всесильней
Со всех вещей смывает грязь и пыль.
Преображенной из его красильни
Выходят жизнь, действительность и быль.

Воспоминание о полувеке
Пронесшейся грозой уходит вспять.
Столетье вышло из его опеки.
Пора дорогу будущему дать.

Не потрясения и перевороты
Для новой жизни очищают путь,
А откровенья, бури и щедроты
Души воспламененной чьей-нибудь.

Июль 1958

Зимние праздники

Будущего недостаточно,
Старого, нового мало.
Надо, чтоб елкою святочной
Вечность средь комнаты стала.

Чтобы хозяйка утыкала
Россыпью звезд ее платье,
Чтобы ко всем на каникулы
Съехались сестры и братья.

Сколько цепей ни примеривай,
Как ни возись с туалетом,
Все еще кажется дерево
Голым и полуодетым.

Вот, трубочиста замаранней,
Взбив свои волосы клубом,
Елка напыжилась барыней
В нескольких юбках раструбом.

Лица становятся каменней,
Дрожь пробегает по свечкам,
Струйки зажженного пламени
Губы сжимают сердечком.

* * *

Ночь до рассвета просижена.
Весь содрогаясь от храпа,
Дом, точно утлая хижина,
Хлопает дверцею шкапа.

Новые сумерки следуют,
День убавляется в росте.
Завтрак проспавши, обедают
Заночевавшие гости.

Солнце садится, и пьяницей
Издали, с целью прозрачной
Через оконницу тянется
К хлебу и рюмке коньячной.

Вот оно ткнулось, уродина,
В снег образиною пухлой,
Цвета наливки смородинной,
Село, истлело, потухло.

Январь 1959

Нобелевская премия

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду.
Будь что будет, всё равно.

Что же сделал я за пакость,
Я, убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

Но и так, почти у гроба,
Верю я, придет пора –
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.

Январь 1959

Божий мир

Тени вечера волоса тоньше
За деревьями тянутся вдоль.
На дороге лесной почтальонша
Мне протягивает бандероль.

По кошачьим следам и по лисьим,
По кошачьим и лисьим следам
Возвращаюсь я с пачкою писем
В дом, где волю я радости дам.

Горы, страны, границы, озера,
Перешейки и материки,
Обсужденья, отчеты, обзоры,
Дети, юноши и старики.

Досточтимые письма мужские!
Нет меж вами такого письма,
Где свидетельства мысли сухие
Не выказывали бы ума.

Драгоценные женские письма!
Я ведь тоже упал с облаков.
Присягаю вам ныне и присно:
Ваш я буду во веки веков.

Ну, а вы, собиратели марок!
За один мимолетный прием,
О, какой бы достался подарок
Вам на бедственном месте моем!

Январь 1959

Единственные дни

На протяженьи многих зим
Я помню дни солнцеворота,
И каждый был неповторим
И повторялся вновь без счета.

И целая их череда
Составилась мало-помалу –
Тех дней единственных, когда
Нам кажется, что время стало.

Я помню их наперечет:
Зима подходит к середине,
Дороги мокнут, с крыш течет,
И солнце греется на льдине.

И любящие, как во сне,

Друг к другу тянутся поспешней,
И на деревьях в вышине
Потеют от тепла скворешни.

И полусонным стрелкам лень
Ворочаться на циферблате,
И дольше века длится день,
И не кончается объятье.

Январь 1959

Стихотворения, невключенные в основное собрание, и другие редакции

«Явмысль глухую себе...»

Я в мысль глухую о себе
Ложусь, как в гипсовую маску.
И это – смерть: застыть в судьбе,
В судьбе – формовщика повязке.

Вот слепок. Горько разрешен
Я этой думою о жизни.
Мысль о себе – как капюшон,
Чернеет на весне капризной.

«Сумерки... словно оруженосцы роз...»

Сумерки... словно оруженосцы роз,
На которых – их копыта и шарфы.
Или сумерки – их менестрель, что врос
С плечами в печаль свою – в арфу.

Сумерки – оруженосцы роз –
Повторят путей их извивы
И, чуть опоздав, отклонят откос
За рыцарскою альмавивой.

Двух иноходцев сменный черед,
На одном только вечер рьяней.
Тот и другой. Их соберет
Ночь в свои тусклые ткани.

Тот и другой. Топчут полынь
Вспышки копыт порыжелых.
Глубже во мглу. Тушит полынь
Сердцебиение тел их.

«Тоска, бешеная, бешеная...»

Тоска, бешеная, бешеная,
Тоска в два-три прыжка
Достигает оконницы, завешенной
Обносками крестовика.

Тоска стекло вышибает
И мокрою куницею выносятся
Туда, где плоскогорьем лунно-холмным
Леса ночные стонут
Враскачку, ртов не разжимая,
Изъеденные серною луной.

Сквозь заросли татарника, ошпаренная,
Задами пробирается тоска;
Где дуб дуплом насупился,
Здесь тот же желтый жупел всё,
И так же, серой улыбаясь,
Луна дубам зажала рты.

Чтоб той улыбкою отсвечивая,
Отмалчивались стиснутые в тысяче
Про опрометчиво-запальчивую,
Про облачно-заносчивую ночь.

Листы обнюхивают воздух,
По ним пробегает дрожь,
И ноздри хвойных загвоздок
Воспаляет неба дебош.

Про неба дебош только знает
Редизна сквозная их,
Соседний север краешком
К ним, в их вертепы вхож.

Взъерошенная, крадучись, боком,
Тоска в два-три прыжка
Достигает, черная, наскоком
Вонзенного в зенит сука.

Кишмя кишат затишьями маковки,
Их целый голубой поток,
Тоска всплывает плакальщицей чащ,
Надо всем водружает вопль.

И вот одна на свете ночь идет
Бобылем по усопшим урочищам,
Один на свете сук опылен
Первопутком млечной ночи.

Одно клеймо тоски на суку,
Полнолунию клейма не снести.
И кунью лапу подымает клеймо,
Отдает полнолунию честь.

Это, лапкой по воздуху вода, тоска
Подалась изо всей своей мочи
В ночь, к звездам и молит с последнего сука
Вынуть из лапки занозу.

* * *

Надеюсь, ее вынут. Тогда, в дыру
Амбразуры – стекольщик – вставь ее,
Души моей, с именем женским в миру
Едко въевшуюся фотографию.

1916

Город (Отрывки целого)

Уже за версту
В капиллярах ненастья и вереска
Густ и солон тобою туман.
Ты горишь, как лиман,
Обжигая пространства, как пере#769;сыпь,
Огневой солончак
Растекающихся по стеклу
Фонарей, каланча,
Пронизавшая заревом мглу.

Навстречу, по зареву, от города, как от моря,
По воздуху мчатся огромные рощи,
Это – галки; это – крыши, кресты и сады и подворья.
Это – галки,
О ближе и ближе; выше и выше.
Мимо, мимо проносятся, каркая, мощно, как мачты за поезд, к Подольску.
Бушуют и ропщут.

Это вещи, голые ветки, божась чердаками,
Вылетают на тучу.
Это – черной божбою
Над тобой бьется пригород Тмутараканью
В падучей.
Это – «Бесы», «Подросток» и «Бедные люди»,
Это – Крымские бани, татары, слободки, Сибирь и бессудье,
Это – стаи ворон. – И скворешницы в лапах суков
Подымают модели предместий с изделиями гробовщиков.

Уносятся шпалы, рыдая.
Листвой вострепенувшейся свист замутив,
Скользит, задевая краями за ивы,
Захлебывающийся локомотив.

Считайте места! – Пора, пора.
Окрестности взяты на буфера.
Стекло в слезах. Огни. Глаза,
Народу, народу! – Сопят тормоза.

Где-то с шумом падает вода.
Как в платок боготворимой, где-то
Дышат ночью тучи, провода,
Дышат зданья, дышит гром и лето.

Где-то с ливнем борется трамвай.
Где-то снится каменным метопам
Лошадьюми срывае́мый со свай
Громовержец, правящий потопом.

Где-то с шумом падает вода.
Где-то театр музеем заподозрен.
Где-то реют молний повода.
Где-то рвутся каменные ноздри.

Где-то ночь, весь ливень расструив,
Носится с уже погибшим планом:
Что ни вспышка, – в тучах, меж руин
Пред галлюцинанткой – Геркуланум.

Громом дрожек, с аркады вокзала
На границе безграмотных роц
Ты развернут, Роман Небывальи́й,
Сочиненный осенью, в дождь,

Фонарями бульваров, книга
О страдающей в бельэтажах
Сандрильоне всех зол, с интригой
Бессловной слуги в госпожах.

Бовари! Без нее б бакалее
Не пылать за стеклом зеленой.
Не вминался б в суглинок аллеи
Холод мокрых вечерен весной.

Не вперялись бы от ожиданья
Темноты, в пустоте rendez-vous
Оловянные птицы и зданья,
Без нее не знобило б траву.

Колокольня лекарствами с ложки
По Посту не поила бы верб,

И Страстную, по лужам дорожки
Не дрожал гимназический герб.

Я опасуюсь, небеса,
Как их, ведут меня к тем самым
Жилым и скользким корпусам,
Где стены – с тенью Мопассана,

Где за болтами жив Бальзак,
Где стали предсказаньем шкапа,
Годами в форточку вползав,
Гнилой декабрь и жуткий запад,

Как неудавшийся пасьянс,
Как выпад карты неминучей.
Nonny soit qui mal у pense:¹⁴
Нас только ангел мог измучить.

В углах улыбки, на щеке,
На прядях – алая прохлада,
Пушатся уши и жакет,
Перчатки – пара шоколадок.

В коленях – шелест тупиков,
Тех тупиков, где от проходов,
От ветра, метел и пинков
Шуршащий лист вкушает отдых.

Где горизонт как Рубикон,
Где сквозь агонию громленной
Рябины, в дождь, бегут бегом
Свистки, и тучи, и вагоны.

1916. Тихие Горы

Маяковскому

Вы заняты нашим балансом,
Трагедией ВСНХ,
Вы, певший Летучим голландцем
Над краем любого стиха.

Холщовая буря палаток
Раздулась гудящей Двиной
Движений, когда вы, крылатый,
Возникли борт о борт со мной.

И вы с прописями о нефти?
Теряясь и оторопев,

¹⁴ Да будет стыдно тому, кто дурно об этом думает. – Девиз англ. ордена Подвязки.

Я думаю о терапевте,
Который вернул бы вам гнев.

Я знаю, ваш путь неподделен,
Но как вас могло занести
Под своды таких богаделен
На искреннем вашем пути?

1922

Gleisdreieck

Надежде Александровне Залцупиной

Чем в жизни пробавляется чудак,
Что каждый день за небольшую плату
Сдаёт над ревом пропасти чердак
Из Потсдама спешащему закату?

Он выставляет розу с резедой
В клубящуюся на#769; версты корзину,
Где семафоры спорят красотой
Со снежной далью, пахнувшей бензином.

В руках у крыш, у труб, у недотрог
Не сумерки, – карандаши для грима.
Туда из мрака вырвавшись, метро
Комком гримас летит на крыльях дыма.

30 января 1923
Берлин

Морской штиль

Палящим полднем вне времен
В одной из лучших экономий
Я вижу движущийся сон, –
Историю в сплошной истоме.

Прохладой заряжён револьвер
Подвалов, и густой салют
Селитрой своды отдают
Гостям при входе в полдень с воли.

В окно ж из комнат в этом доме
Не видно ни с каких сторон
Следов знакомой жизни, кроме
Воды и неба вне времен.
Хватясь искомого приволья,
Я рвусь из низких комнат вон.

Напрасно! За лиловый фольварк,
Под слуховые окна служб
Верст на сто в черное безмолвье
Уходит белой лентой глушь.

Верст на сто путь на запад занят
Клубничной пеной, и янтарь
Той пены за собою тянет
Глубокой ложкой вал винта.

А там, с обмылками в обнимку,
С бурлящего песками дна,
Как кверху всплывшая клубника,
Круглится цельная волна.

1923

Наступленье зимы

Трепещет даль. Ей нет препон.
Еще оконницы крепятся.
Когда же сдернут с них кретон,
Зима заплещет без препятствий.

Зачертыхались сучья роц,
Трепещет даль, и плещут шири.
Под всеми чертежами ночь
Подписывается в четыре.

Внизу толпится гольтепа,
Пыхтит ноябрь в седой попоне.
При первой пробе фортепьян
Все это я тебе напомним,

Едва допущенный Шопен
Опять не сдержит обещанья
И кончит бешенством взамен
Баллады самообладанья.

1923

Осень

Ты распугал моих товарок,
Октябрь, ты страху задал им,
Не стало астр на тротуарах,
И страшно ставней мостовым.

Со снегом в кулачке, чахотка
Рукой хватается за грудь.

Ей надо, видишь ли, находку
В обрывок легких завернуть.

А ты глядишь? Беги, преследуй,
Держи ее – и не добром,
Так силой – отыми браслеты,
Завещанные сентябрем.

1923

Бодрость

В холодный ясный день, как сосвистав листву,
Ведет свою игру недобрый блеск графита,
Не слышу ног и я, и возраст свой зову
Дурной привычкой тли, в дурном кругу добытой.

В чем состязаться нам, из полутьмы гурьбой
Повышвырнутым в синь, где птиц гоняет гений,
Где горизонт орет подзорною трубой,
В чем состязаться нам, как не на дальность зренья?

Трещит зловещий змей. Оглохший полигон
Оседланных небес не кажется оседлей,
Плывет и он, плывет, торопит небосклон,
И дали с фонарем являются немедля.

О сердце, ведь и ты летишь на них верхом,
Захлебываясь крыш затопленных обильем,
И хочется тебе поездить под стихом,
Чтоб к виденному он прибавил больше шпилем.

1923

«Испящий Петербург огромен...»

И спящий Петербург огромен,
И в каждой из его ячей
Скрывается живой феномен:
Безмолвный говор мелочей.

Пыхтят пары, грохочут тени,
Стучит и дышит машинизм.
Земля – планета совпадений,
Стеченье фактов любит жизнь.

В ту ночь, нагрянув не по делу,
Кому-то кто-то что-то бурк –
И юрк во тьму, и вскоре Белый
Задумывает «Петербург».

В ту ночь, типичный петербуржец,
Ей посвящает слух и слог
Кругам артисток и натурщиц
Еще малоизвестный Блок.

Ни с кем не знаясь, не знакомясь,
Дыша в ту ночь одним чутьем,
Они в ней открывают помесь
Обетованья с забытьём.

1925

Мороз

Над банями дымятся трубы,
И дыма белые бока
У выхода в платки и шубы
Запахивают облака.

Весь жар души дворы вложили
В сугробы, тропки и следки,
И рвутся стужи сухожилья,
И виснут визга языки.

Лучи стругают, вихри сверлят,
И воздух, как пила, остер,
И как мороженая стерлядь
Пылка дорога, бел простор.

Коньки, поленья, елки, миги,
Огни, волненья, времена,
И в вышине струной визиги
Загнувшаяся тишина.

1927

Ремесло

Когда я, кончив, кресло отодвину,
Страница вскрикнет, сон свой победа.
Она в бреду и спит наполовину
Под властью ожиданья и дождя.

Такой не наплетешь про арлекинов.
На то поэт, чтоб сделать ей теплой.
Она забылась, корпус запрокинув,
Всей тяжестью сожженных кораблей.

Я ей внушил в часы, за жуть которых

Ручается фантазия, когда
Зима зажжет за окнами конторок
Зеленый визг заждавшегося льда,

И циферблаты банков и присутствий,
Впивая снег и уличную темь,
Зайдутся боем, вскочат, потрясутся,
Подымут стрелки и покажут семь,

В такой-то, темной памяти событий
Глубокий час внушил странице я
Опомниться, надеть башлык и выйти
К другим, к потомкам, как из забытья.

1927

«Мнекажется, яподберу слова...»

Мне кажется, я подберу слова,
Похожие на Вашу перевозданность,
И если не означу существа,
То все равно с ошибкой не расстанусь.

Я слышу мокрых кровель говорок,
Колоколов безмолвные эклоги.
Какой-то город, явный с первых строк,
Растет и узнается в каждом слоге.

Волнует даль, но за город нельзя,
Пока внизу гуляют краснобаи,
Глаза шитьем за лампою слезя,
Горит заря, спины не разгибая.

С недавних пор в стекле оконных рам
Тоскует воздух в складках предрассветных.
С недавних пор по долгим вечерам
Его кроют по выкройкам газетным.

В воде каналов, как пустой орех,
Нырять ветер и кольшет веки
Заполуночничавшейся за всех
И счет часам забывшей белошвейки.

Мерцают, заостряясь, острова.
Метя песок, клубится малокровье,
И хмурит брови странная Нева,
Срываясь за мост в роды и здоровье.

Всех градусов грунты рождает взор:
Что чьи глаза накурят, все равно чьи.
Но самой сильной крепости раствор –

Ночная даль под взглядом белой ночи.

Таким я вижу облик Ваш и взгляд.
Он мне внушен не тем столбом из соли,
Которым Вы пять лет тому назад
Испуг оглядки к рифме прикололи,

Но, исходив от Ваших первых книг,
Где крепи прозы пристальной крупницы,
Он и сейчас, как искры проводник,
Событья былью заставляет биться.

6. III.1929

«Жизниль мне хотелось слаще?..»

Жизни ль мне хотелось слаще?
Нет, нисколько; я хотел
Только вырваться из чащи
Полуснов и полудел.

Но откуда б взял я силы,
Если б ночью сборов мне
Целой жизни не вместило
Сновиденье в Ирпене?

Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Серый день в сквозном проеме
Незадернутых гардин.

Хлопья лягут и увидят:
Синь и солнце, тишь и гладь.
Так и нам прощенье выйdet,
Будем верить, жить и ждaть.

1931

«Будущее! Облака встрепанный бок!..»

Будущее! Облака встрепанный бок!
Шапка седая! Гроза молодая!
Райское яблоко года, когда я
Буду как бог.

Я уже пе#769;режил это. Я предал.
Я это знаю. Я это отведал.
Зоркое лето. Безоблачный зной.
Жаркие папоротники. Ни звука.
Муха не сядет. И зверь не сягнет.

Птица не по#769;рхнет – палящее лето.
Лист не шело#769;хнет – и пальмы стеной.
Папоротники и пальмы, и *это*
Дерево . Это, корзиной ранета,
Раненной тенью вонзенное в зной,
Дерево девы и древо запрета.
Это, и пальмы стеною, и «Ну-ка,
Что там, была не была, подойду-ка...»
Пальмы стеною и кто-то иной,
Кто-то как сила, и жажда, и мука,
Кто-то как хохот и холод сквозной –
По#769;лбу и в волосы всей пятерней, –
И утюгом по лужайке – гадюка.
Синие линии пиний. Ни звука.
Папоротники и пальмы стеной.

1931

«Всенаклоненья изалоги...»

Все наклоненья и залогии
Изжеваны до одного.
Хватить бы соды от изжоги!
Так вот итог твой, мастерство?

На днях я вышел книгой в Праге.
Она меня перенесла
В те дни, когда с заказом на дом
От зарев, догоравших рядом,
Я верил на слово бумаге,
Облитой лампой ремесла.

Бывало, снег несет вкрутую,
Что только в голову придет.
Я сумраком его грунтую
Свой дом, и холст, и обиход.

Всю зиму пишет он этюды,
И у прохожих на виду
Я их переносу оттуда,
Таю, копирую, краду.

Казалось, альфой и омегой –
Мы с жизнью на один покров;
И круглый год, в снегу, без снега,
Она жила, как *alter ego*¹⁵,
И я назвал ее сестрой.

Землею был так полон взор мой,

¹⁵ Другое «я», двойник (*лат.*) .

Что зацвстал, как курослеп,
С сурепкой мелкой неврасцеп,
И пил корнями жженный, черный
Цикорный сок густого дерна,
И только это было формой,
И это – лепкою судеб.

Как вдруг – издание из Праги.
Как будто реки и овраги
Задумали на полчаса
Наведаться из грек в варяги,
В свои былые адреса.

С тех пор все изменилось в корне.
Мир стал невиданно широк.
Так революции ль порок,
Что я, с годами все покорней,
Твержу, не знаю чей, урок?

Откуда это? Что за притча,
Что пепел рухнувших планет
Родит скрипичные капричьо?
Талантов много, духу нет.

«Поэт, не принимай на веру...»

Поэт, не принимай на веру
Примеров Дантов и Торкват.
Искусство – дерзость глазомера,
Влечение, сила и захват.

Тебя пилили на поленья
В года, когда в огне невзгод,
В золе народонаселенья
Оплавилось ядро: народ.

Он для тебя вода и воздух,
Он – прежний лютик луговой,
Копной черемух белогроздых
До облак взмывший головой.

Не выставляй ему отметок.
Растроганности грош цена.
Грозой пади в объятья веток,
Дождем обдай его до дна.

Не умиляйся, – не подтянем.
Сгинь без вести, вернись без сил,
И по репьям и по плутаньям
Пойдем, кого ты посетил.

Твое творение не орден:
Награды назначает власть.
А ты – тоски пеньковый гордень,
Паренья парусная снасть.

1936

Лето

Босой по угольям иду.
Как печку изразцами,
Зной полдня выложил гряду
Литыми огурцами.

Жары безоблачной лубок
Не выдавал нигде нас.
Я и сегодня в солнцепек
До пояса разденусь.

Ступая пыльной лебедой
И выполотой мятой,
Ручьями пота, как водой,
Я оболью лопату.

Как глину, солнце обожжет
Меня по самый пояс,
И я глазурью, стерши пот,
Горшечною покроюсь.

Я подымусь в свой мезонин,
И ночь в оконной раме
Меня наполнит, как кувшин,
Водою и цветами.

Она отмоеет верхний слой
С похолодевших стенок
И даст какой-нибудь одной
Из местных уроженок.

Наш отдых будет как набег.
Весь день царил порядок,
А ночью спящий человек –
Собрание загадок.

Во сне, как к крышке сундука
И ящичку комода,
Протянута его рука
К ночному небосводу.

1940

Город

Когда с колодца лед не сколот
И в проруби не весь пробит,
Как тянет в город в этот холод,
И лихорадит, и знобит.

Из чащи к дому нет прохода:
Кругом сугробы, смерть и сон.
Зима в лесу – не время года,
А гибель и конец времен.

А между тем, пока мы хнычем
И тащим хворост для жилья,
Гордится город безразличьем
К несовершенствам бытия.

Он создал тысячи диговин
И может не бояться стуж.
Он с ног до головы духовен
Мильоном в нем живущих душ.

На то он родина ремесел,
Чтоб не робеть стихий. Он их
За тридевять земель отбросил
Усильями мастеровых.

Он – воздух будущих зимовий
И наготове к ним ко всем.
Он с самого средневековья
Приют учений и систем.

Когда надменно, руки фертом,
В снега он смотрит свысока,
Он роще кажется бессмертным:
Здесь ель да шишки, там – века.

И разве он и впрямь не вечен,
Когда зимой, с разбега вдаль,
Он всем скрещеньем поперечин
Вонзает в запад магистраль?

1940

Присяга

Толпой облеплены ограды,
В ушах печатный шаг с утра,
Трещат пропеллеры парада,
Орут упорно рупора.

Три дня проходят как в угаре,
В гостях, в театре, у витрин,
На выставке, на тротуаре,
Три дня сливаются в один.

Все умолкает на четвертый.
Никто не открывает рта.
В окрестностях аэропорта
Усталость, отдых, глухота.

Наутро отпускным курсантом
Полкомнаты заслонено.
В рубашке с первомайским бантом
Он свешивается в окно.

Все существо его во власти
Надвинувшейся новизны,
Коротким сном огня и счастья
Все чувства преображены.

С души дремавшей снят наглазник.
Он за ночь вырос раза в два.
К его годам прибавлен праздник.
Он отстоит свои права.

На дне дворового колодца
Оттаивает снега пласт.
Сейчас он в комнату вернется
К той, за кого он жизнь отдаст.

Он смотрит вниз на эти комья.
Светает. Тушат фонари.
Все ежится, как он, в истоме,
Просвечивая изнутри.

1941

Русскому гению

Не слушай сплетен о другом.
Чурайся старых своден.
Ни в чем не меряйся с врагом,
Его пример не годен.

Чем громче о тебе галдеж,
Тем умолкай надменной.
Не довершай чужую ложь
Позором объяснений.

Ни с кем соперничества нет.

У нас не поединок.
Полмиру затмевает свет
Несметный вихрь песчинок.

Пусть тучи пыли до небес,
Ты высишься над прахом.
Вся суть твоя – противовес
Коричневым рубахам.

Ты взял над всякой спесью верх
С того большого часа,
Как истуканов ниспроверг
И вечностью запасся.

Оставь врагу его болты,
И медь, и алюминий.
Твоей великой правоты
Нет у него в помине.

1941

«Грядущее навсе изменит взгляд...»

Грядущее на все изменит взгляд,
И странностям, на выдумки похожим,
Оглядываясь издали назад,
Когда-нибудь поверить мы не сможем.

Когда кривляться станет ни к чему
И даже правда будет позабыта,
Я подойду к могильному холму
И голос подниму в ее защиту.

И я припомню страшную войну,
Народу возвратившую оружие,
И старое перебирать начну,
И городок на Каме обнаружу.

Я с палубы увижу огоньки,
И даль в снегу, и отмели под сплавом,
И домики на берегу реки,
Задумавшейся перед рекоставом.

И в тот же вечер разыщу семью
Под каланчою в каменном подвале,
И на зиму свой труд обосную
В той комнате, где Вы потом бывали.

Когда же безутешно на дворе
И дни всего короче и печальней,
На общем выступлении в ноябре

Ошанин познакомит нас в читальне...

24. VIII.1942

В.Д.Авдееву

Когда в своих воспоминаньях
Я к Чистополю подойду,
Я вспомню городок в геранях
И домик с лодками в саду.

Я вспомню отмели под сплавом,
И огоньки, и каланчу
И осенью пред рекоставом
Перенестись к Вам захочу.

Каким тогда я буду старым!
Как мне покажется далек
Ваш дом, нас обдававший жаром,
Как разожженный камелек.

Я вспомню длинный стол и залу,
Где в мягких креслах у конца
Таланты братьев завершала
Усмешка умного отца.

И дни Авдеевских салонов,
Где, лучшие среди живых,
Читали Федин и Леонов,
Тренев, Асеев, Петровых.

Забудьте наши перегибы,
И, чтоб полней загладить грех,
Мое живейшее спасибо
За весь тот год, за нас за всех.

1. VII. 42

1917–1942

Заколдованное число!
Ты со мной при любой перемене.
Ты свершило свой круг и пришло.
Я не верил в твое возвращенье.

Как тогда, четверть века назад,
На заре молодых вероятий,
Золотишь ты мой ранний закат
Светом тех же великих начатий.

Ты справляешь свое торжество,
И опять, двадцатипятилетье,
Для тебя мне не жаль ничего,
Как на памятном первом рассвете.

Мне не жалко незрелых работ,
И опять этим утром осенним
Я оцениваю твой приход
По готовности к свежим лишениям.

Предо мною твоя правота.
Ты ни в чем предо мной не повинно,
И война с духом тьмы неспроста
Омрачает твою годовщину.

6 ноября 1942

Спешные строки

Помню в поездах мороку,
Толчею подвод,
Осень отводил к востоку
Сорок первый год.

Чувствовалась близость фронта.
Разговор «катюш»
Заносило с горизонта
В тыловую глушь.

И когда гряда позиций
Отошла к Орлу,
Все задвигалось в столице
И ее тылу.

Я любил искус бомбежек,
Хриплый вой сирен,
Ощетинившийся ежик
Улиц, крыш и стен.

Тротуар под небоскребом
В страшной глубине
Мертвым островом за гробом
Представлялся мне.

И когда от бомбы в небо
Вскинуло труху,
Я и Анатолий Глебов
Были наверху.

Чем я вознесен сегодня
До седьмых небес,

Точно вновь из преисподней
Я на крышу влез?

Я спущусь в подвал к жилицам,
Объявлю отбой,
Проведу рукой по лицам,
Пьяный и слепой.

Я скажу: долой суровость!
Белую на стол!
Сногшибательная новость:
Возвращен Орел.

Я великолепно помню
День, когда он сдан.
Было жарко, словно в домне,
И с утра туман.

И с утра пошло катиться,
Побежало вширь:
Отдан город, город – птица,
Город – богатырь.

Но тревога миновала.
Он освобожден.
Поднимайтесь из подвала,
Выходите вон.

Слава павшим. Слава строем
Проходящим вслед.
Слава вечная героям
И творцам побед!

7 августа 1943

Одесса

Земля смотрела именинницей
И все ждала неделю эту,
Когда к ней избавитель кинется
Под сумерки или к рассвету.

Прибой рычал свою невнятицу
У каменистого отвеса,
Как вдруг все слышат, сверху катится
«Одесса занята, Одесса».

По улицам, давно не езженным,
Несется русский гул веселый.
Сапер занялся обезвреженьем
Подъездов и домов от тола.

Идет пехота, входит конница,
Гремят тачанки и телеги.
В беседах время к ночи клонится,
И нет конца им на ночлеге.

А рядом в яме череп скалится,
Раскинулся пустырь безмерный.
Здесь дикаря гуляла палица,
Прошелся человек пещерный.

Пустыми черепа глазницами
Глядят головки иммортелей
И населяют воздух лицами,
Расстрелянными в том апреле.

Зло будет отмщено, наказано,
А родственникам жертв и вдовам
Мы горе облегчить обязаны
Еще каким-то новым словом.

Клянемся им всем русским гением,
Что мученикам и героям
Победы одухотворением
Мы вечный памятник построим.

1944

Импровизация на рояле

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и гогот.
Казалось, всё знают, казалось, всё могут
Кричавших кругом лебедей вожаки.

И было темно, и это был пруд
И волны. И птиц из семьи горделивой,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Дробившиеся вдалеке переливы.

И все, что в пруду утопил небосвод,
Ковшами кипящими на воду вылив,
Казалось, доплескивало до высот
Ответное хлопанье весел и крыльев.

И это был пруд, и было темно,
И было охвачено тою же самой
Тревогою сердце, как небо и дно,
Оглохшие от лебединого гама.

1915, 1946

Нежность

Ослепляя блеском,
Вечерело в семь.
С улиц к занавескам
Приникала темь.

Замирали звуки
Жизни в слободе.
И блуждали руки
Неизвестно где.

Люди – манекены,
Но слепая страсть
Тянется к вселенной
Ощупью припасть,

Чтобы под ладонью
Слушать, как поет
Бегство и погоня,
Трепет и полет.

Чувство на свободе –
Это налегке
Рвущая поводья
Лошадь в мундштуке.

1949

Бессонница

Который час? Темно. Наверно, третий.
Опять мне, видно, глаз сомкнуть не суждено.
Пастух в поселке щелкнет плетью на рассвете.
Потянет холодом в окно,
Которое во двор обращено.

А я один.
Неправда, ты
Всей белизны своей сквозной волной
Со мной.

1953

Подоткрытым небом

Вытянись вся в длину,
Во весь рост
На полевым стану

В обществе звезд.

Незыблем их порядок.
Извечен ход времен.
Да будет так же сладок
И нерушим твой сон.

Мирами правит жалость,
Любовью внушена
Вселенной небывалость
И жизни новизна.

У женщины в ладони,
У девушки в горсти
Рождений и агоний
Начала и пути.

1953

Поверх барьеров

Скрипка Паганини

1

Душа, что получается?
– Повремени. Терпенье.

Он на простенок выбег,
Он почернел, кончается –
Сгустился, – целый цыбик
Был высыпан из чайницы.

Он на карнизе узком,
Он из агата выточен,
Он одуряет сгустком
Какой-то страсти плиточной.

Отчетлив, как майолика,
Из смол и молний набран,
Он дышит дрожью столика
И зноем канделябров.

Довольно. Мгла заплакала,
Углы стекла всплакнули...
Был карликом, кривлякою –
Messieurs¹⁶ – расставьте стулья.

¹⁶ Господа (фр.) .

2

Дома из более, чем антрацитных плиток,
Сады из более, чем медных мозаик,
И небо более паленое, чем свиток,
И воздух более надтреснутый, чем вскрик,

И в сердце, более прерывистом, чем – «Слушай» –
Глухих морей в ушах материка,
Врасплох застигнутая боле, чем удушьем,
Любовь и боле, чем любовная тоска!

3

Ядохну на тебя, мой замысел,
И ты станешь как кожа индейца.
Но на что тебе, песня, надеяться?
Что с тобой я вовек не расстанусь?

Я создам, как всегда, по подобию
Своему вас, рабы и повстанцы, –
И закаты за вами потянутся,
Как напутствия вам и надгробья.

Но нигде я не стану вас чествовать
Юбилеем лучей, и на свете
Вы не встретите дня, день не встретит вас.
Я вам ночь оставляю в наследье.

4

Я люблю тебя черной от сажи
Сожиганья пассажей, в золе
Отпылавших андант и адажий,
С белым пеплом баллад на челе,

С загрубевшей от музыки коркой
На поденной душе, вдалеке
Неумелой толпы, как шахтерку,
Проводящую день в руднике.

5

Она

Изборожденный тьмою бороздок,
Рябью сбежавший при виде любви,
Этот, вот этот бесснежный воздух,
Этот, вот этот – руками лови?

Годы льдов простерлися
Небом в отдаленьи,
Я ловлю, как горлицу,
Воздух голой жменей.

Вслед за накидкой ваточной
Всё – долой, долой!
Нынче небес недостаточно,
Как мне дышать золой!

Ах, грудь с грудью борются
День с уединеньем.
Я ловлю, как горлицу,
Воздух голой жменей.

6

Он

Я люблю, как дышу. И я знаю:
Две души стали в теле моем.
И любовь та душа иная,
Им несносно и тесно вдвоем.

От тебя моя жажда пособия,
Без тебя я не знаю пути,
Я с восторгом отдам тебе обе,
Лишь одну из двоих приюти.

О, не смейся, ты знаешь какую.
О, не смейся, ты знаешь к чему.
Я и старой лишиться рискую,
Если новой я рта не зажму.

«Вслед замной все зовут вас барышней...»

Вслед за мной все зовут вас барышней,
Для меня ж этот зов зачастую,
Как акт наложенья наручней,
Как возглас: «Я вас арестую».

Нас отыщут легко все тюремщики
По очень простой примете:
Отныне на свете есть женщина
И у ней есть тень на свете.

Есть лица к туману притертые
Всякий раз, как плашмя на них глянешь,
И только одною аортою
Лихорадящий выплеснут глянec.

1914

«Порою ты, опередив...»

Порою ты, опередив
Мгновенной вспышкой месяцы,
Сродни пожарам чащ и нив,
Когда края безлесья;

Дыши в грядущее, теребь
И жги его – залижется
Оно душой твоей, как степь
Пожара беглой жижицей.

И от тебя, по самый гроб
С судьбы твоей преддверия
Дни, словно стадо антилоп,
В испуге топчут прерии.

Pro domo¹⁷

Налетела тень. Затрепыхалась в тяге
Сального огарка. И метнулась вон
С побелевших губ и от листа бумаги
В меловой распах сыреющих окон.

В час, когда писатель – только вероятье,
Бледная догадка бледного огня,
В уши душной ночи как не прокричать ей:
«Это – час убийства! Где-то ждут меня!»

В час, когда из сада остро тянет тенью,
Пьяной, как пространства, мировой, как скок
Степи под седлом, – я весь – на иждивенье
У огня в колонной воспаленных строк.

1914

Appassionata¹⁸

От жара струились стручья,
От стручьев струился жар,
И ночь пронеслась, как из тучи
С корнем вырванный шар.

Удушьем свело оболочку,
Как змей, трещала ладья,
Сегодня ж мне кажется точкой

¹⁷ О себе (*лат.*) .

¹⁸ Страстная (*ит.*) .

Та ночь в небесах бытия.

Не помню я, был ли я первым,
Иль первою были вы –
По ней барабанили нервы,
Как сетка из бечевы.

Громадой рубцов напряжась,
От жару грязен и наг,
Был одинок, как ужас,
Ее восклицательный знак.

Проставленный жизнью по сизой
Безводной Сахаре небес,
Он плыл, оттянутый книзу,
И пел про удельный вес.

Последний день Помпеи

Был вечер, как удар,
И был грудною жабой
Лесов – багровый шар,
Чадивший без послабы.

И день валился с ног,
И с ног валился тут же,
Где с людом и шинок,
Подобранный заблудшей

Трясиной, влекся. Где
Концы свели с концами,
Плавучесть звезд в воде
И вод в их панораме.

Где, словно спирт, взасос
Пары болот под паром
Тянули крепость рос,
Разбавленных пожаром.

И был, как паралич,
Тот вечер. Был как кризис
Поэм о смерти. Притч,
Решивших сбуться, близясь.

Сюда! лицом к лицу
Заката, не робея!
Сейчас придет к концу
Последний день Помпеи.

«ЭТОМОИ, ЭТОМОИ...»

Это мои, это мои,
Это мои непогоды –
Пни и ручьи, блеск колеи,
Мокрые стекла и броды,

Ветер в степи, фыркай, храпи,
Наотмашь брызжи и фыркай!
Что тебе сплин, ропот крапив,
Лепет холстины по стирке.

Платья, кипя, лижут до пят,
Станы гусей и полотниц
Рвутся, летят, клонят канат,
Плещут в ладони работниц.

Ты и тоску порешь в лоскут,
Порешь, не знаешь покрою,
Вот они там, вот они тут,
Клочьями кочки покроют.

Прощанье

Небо гадливо касалось холма,
Осенью произносились проклятья,
По ветру время носилось, как с платья
Содранная бурьянами тесьма.

Тучи на горку держали. И шли
Переселеньем народов – на горку.
По ветру время носилось оборкой
Грязной, худой, затрапезной земли.

Степь, как архангел, трубила в трубу,
Ветер горланил протяжно и властно:
Степь! Я забыл в обладании гласной,
Как согласуют с губою губу.

Вон, наводя и не на воды жуть,
Как на лампаду, подул он на речку,
Он и пионы, как сальные свечки,
Силится полною грудью задуть.

И задувает. И в мрак погрузясь,
Тускло хладеют и плещут подкладкой
Листья осин. И, упав на площадку,
Свечи с куртин зарываются в грязь.

Стало ли поздно в полях со вчера,
Иль до бумажек сгорел накануне
Вянувший тысячесвечник петуний, –
Тушат. Прощай же. На месяц. Пора.

Муза девятьсот девятого

Сльвишая младшею дочерью
Гроз, из фамилии ливней,
Ты, опыленная дочерна
Громом, как крылья крапивниц!

Молния былей пролившихся,
Мглистость молившихся мыслей,
Давность, ты взрыта излишеством,
Ржавчиной блеск твой окислен!

Башни, сшибаясь, набатили,
Вены вздымались в галопе.
Небо купалось в кратере,
Полдень стоял на подкопе.

Луч оловел на посудинах.
И, как пески на самуме,
Клубы догадок полуденных
Рот задыхали безумьем.

Твой же глагол их осиливал,
Но от всемирных песчинок
Хруст на зубах, как от пылева,
Напоминал поединок.